



**EDWARD J.
O'BRIEN**

"I regard this volume of short stories as a permanent contribution to the American literature of our time—a brave book not only for us but for posterity."



**SHERWOOD
ANDERSON**

"Mr. Hemingway is young, strong, full of laughter, and he can write. His people flash suddenly up like those old elusive moments of glowing reality, the clear peering down of which has always made good writing so good."

IN OUR TIME

BY **ERNEST
HEMINGWAY**

**GILBERT
SELDES**

"Extraordinary in its vividness and its brutality, it is, for the most part, deliberately unliterary, in the modern style. I can see it being warmly admired as I admire it, and violently disliked as I dislike some of it. But it has too much character, too much vital energy and passion to leave anyone indifferent. To me that is a high recommendation."

**DONALD
ODDEN
STEWART**

"After trying to make a meal out of the literary lettuce sandwiches which are being fed to this country, it is rather nice to discover that one of your own countrymen has opened a shop where you can really get something to eat."

**WALDO
FRANK**

"Not in a long time have I been so impressed by the work of a new American author. Mr. Hemingway can write. His stories are hard, passionate bits of life."

**FORD
MADDOX
FORD**

"The best writer in America at this moment (though for the moment he happens to be in Paris), the most considered, the most master of his craft, the most consummate, is Ernest Hemingway."

Annotation

"В наше время" - сборник рассказов Эрнеста Хемингуэя. Каждая глава включает краткий эпизод, который, в некотором роде, относится к следующему рассказу. Сборник был опубликован в 1925 году и ознаменовал американский дебют Хемингуэя.

- [Эрнест Хемингуэй](#)
 - [В порту Смирны](#)
 - [1](#)
 - [Индейский поселок](#)
 - [2](#)
 - [Доктор и его жена](#)
 - [3](#)
 - [Что-то кончилось](#)
 - [4](#)
 - [Трехдневная непогода](#)
 - [5](#)
 - [Чемпион](#)
 - [6](#)
 - [Очень короткий рассказ](#)
 - [7](#)
 - [Дома](#)
 - [8](#)
 - [Революционер](#)
 - [9](#)
 - [Мистер и миссис Эллиотт](#)
 - [10](#)
 - [Кошка под дождем](#)
 - [11](#)
 - [Не в сезон](#)
 - [12](#)

- [Кросс по снегу](#)
- [13](#)
- [Мой старик](#)
- [14](#)
- [На Биг-Ривер \(I\).](#)
- [15](#)
- [На Биг-Ривер \(II\).](#)
- [L'ENVOI\[29\]](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)

- [28](#)
- [29](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной](#)
[электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

[Другие книги серии «Рассказы»](#)

Приятного чтения!

**Эрнест Хемингуэй
В наше время (сборник
рассказов)**

В порту Смирны

Очень удивительно, сказал он, что кричат они всегда в полночь.

Не знаю, почему они кричали именно в этот час. Мы были в гавани, а они все на молу, и в полночь они начинали кричать. Чтобы успокоить их, мы наводили на них прожектор. Это действовало без отказа. Мы раза два освещали мол из конца в конец, и они утихали.

Однажды, когда я был начальником команды, работавшей на молу, ко мне подошел турецкий офицер и, задыхаясь от ярости, заявил, что наш матрос нагло оскорбил его. Я заверил его, что матрос будет отправлен на борт и строго наказан. Я попросил указать мне виновного. Он указал на одного безобиднейшего парня из орудийного расчета. Повторил, что тот нагло оскорбил его, и не единожды, а много раз: говорил же он со мной через переводчика. Мне не верилось, что матрос мог так хорошо знать турецкий язык, чтобы сказать что-нибудь оскорбительное. Я вызвал его и сказал:

– Это на случай, если ты разговаривал с кем-нибудь из турецких офицеров.

– Я ни с одним из них не разговаривал, сэр.

– Не сомневаюсь, – сказал я, – но ты все-таки ступай на корабль и до завтра не сходи на берег.

Потом я сообщил турку, что матрос отправлен на корабль, где его ждет суровое наказание. Можно сказать – жестокое. Он чрезвычайно обрадовался, и мы дружески разговорились. Хуже всего, сказал он, – это женщины с мертвыми детьми.

Невозможно было уговорить женщин отдать своих мертвых детей. Иногда они держали их на руках по шесть дней. Ни за что не отдавали. Мы ничего не могли

поделать. Приходилось в конце концов отнимать их, и еще я видел старуху – необыкновенно странный случай. Я говорил о нем одному врачу, и он сказал, что я это выдумал. Мы очищали мол, и нужно было убрать мертвых, а старуха лежала на каких-то самодельных носилках. Мне сказали: «Хотите посмотреть на нее, сэр?» Я посмотрел, и в ту же минуту она умерла и сразу окоченела. Ноги ее согнулись, туловище приподнялось, и так она и застыла. Как будто с вечера лежала мертвая. Она была совсем мертвая и негнущаяся. Когда я рассказал доктору про старуху, он заявил, что этого быть не может.

Все они теснились на молу, но не так, как бывает во время землетрясения или в подобных случаях, потому что они не знали, что придумает старый турок. Они не знали, что он может сделать. Помню, как нам запретили входить в гавань для очистки мола от трупов. В то утро у входа в гавань мне было очень страшно. Орудий у него хватало, и ему ничего не стоило выкинуть нас вон. Мы решили войти, подтянуться вплотную к молу, бросить оба якоря и открыть огонь по турецкой части города. Они выкинули бы нас вон, но мы разнесли бы город. Когда мы вошли в гавань, они обстреляли нас холостыми зарядами. Кемаль прибыл в порт и сместил турецкого коменданта. За превышение власти или что-то в этом духе. Слишком много взял на себя. Могла бы выйти прескверная история.

Трудно забыть набережную Смирны. Чего только не плавало в ее водах. Впервые в жизни я дошел до того, что такое снилось мне по ночам. Рожавшие женщины – это было не так страшно, как женщины с мертвыми детьми. А рожали многие. Удивительно, что так мало из них умерло. Их просто накрывали чем-нибудь и оставляли. Они всегда забирались в самый темный угол трюма и там рожали. Как только их уводили с мола, они уже ничего не боялись.

Греки тоже оказались милейшими людьми. Когда они уходили из Смирны, они не могли увезти с собой своих вьючных животных, поэтому они просто перебили им передние ноги и столкнули с пристани в мелкую воду. И все мулы с перебитыми ногами барахтались в мелкой воде. Веселое получилось зрелище. Куда уж веселей.

Все были пьяны. Пьяна была вся батарея, в темноте двигавшаяся по дороге. Мы двигались по направлению к Шампани. Лейтенант то и дело сворачивал с дороги в поле и говорил своей лошади: "Я пьян, mon vieux^[1], я здорово пьян. Ох! Ну и накачался же я". Мы шли в темноте по дороге всю ночь, и адъютант то и дело подъезжал к моей кухне и твердил: «Затуши огонь. Опасно. Нас заметят». Мы находились в пятидесяти километрах от фронта, но адъютанту не давал покоя огонь моей кухни. Чудно было идти по этой дороге. Я в то время был старшим по кухне.

Индейский поселок

На озере у берега была причалена чужая лодка. Возле стояли два индейца, ожидая.

Ник с отцом перешли на корму, индейцы оттолкнули лодку, и один из них сел на весла. Дядя Джордж сел на корму другой лодки. Молодой индеец столкнул ее в воду и тоже сел на весла.

Обе лодки отплыли в темноте. Ник слышал скрип уключин другой лодки далеко впереди, в тумане. Индейцы гребли короткими, резкими рывками. Ник прислонился к отцу, тот обнял его за плечи. На воде было холодно. Индеец греб изо всех сил, но другая лодка все время шла впереди в тумане.

– Куда мы едем, папа? – спросил Ник.

– На ту сторону, в индейский поселок. Там одна индианка тяжело больна.

– А... – сказал Ник.

Когда они добрались, другая лодка была уже на берегу. Дядя Джордж в темноте курил сигару. Молодой индеец вытащил их лодку на песок. Дядя Джордж дал обоим индейцам по сигаре.

От берега они пошли лугом по траве, насквозь промокшей от росы; впереди молодой индеец нес фонарь. Затем вошли в лес и по тропинке выбрались на дорогу, уходившую вдаль, к холмам. На дороге было гораздо светлей, так как по обе стороны деревья были вырублены. Молодой индеец остановился и погасил фонарь, и они пошли дальше по дороге.

За поворотом на них с лаем выбежала собака. Впереди светились огни лачуг, где жили индейцы-корьевщики. Еще несколько собак кинулось на них. Индейцы прогнали собак назад, к лачугам.

В окне ближней лачуги светился огонь. В дверях стояла старуха, держа лампу. Внутри на деревянных нарах лежала молодая индианка. Она мучилась родами уже третьи сутки. Все старухи поселка собрались возле нее. Мужчины ушли подальше; они сидели и курили в темноте на дороге, где не было слышно ее криков. Она опять начала кричать, как раз в ту минуту, когда оба индейца и Ник вслед за отцом и дядей Джорджем вошли в барак. Она лежала на нижних нарах, живот ее горой поднимался под одеялом. Голова была повернута набок. На верхних нарах лежал ее муж. Три дня тому назад он сильно поранил ногу топором. Он курил трубку. В лачуге очень дурно пахло.

Отец Ника велел поставить воды на очаг и, пока она нагревалась, говорил с Ником.

– Видишь ли, Ник, – сказал он, – у этой женщины должен родиться ребенок.

– Я знаю, – сказал Ник.

– Ничего ты не знаешь, – сказал отец. – Слушай, что тебе говорят. То, что с ней сейчас происходит, называется родовые схватки. Ребенок хочет родиться, и она хочет, чтобы он родился. Все ее мышцы напрягаются для того, чтобы помочь ему родиться. Вот что происходит, когда она кричит.

– Понимаю, – сказал Ник.

В эту минуту женщина опять закричала.

– Ох, папа, – сказал Ник, – разве ты не можешь ей дать чего-нибудь, чтобы она не кричала?

– Со мной нет анестезирующих средств, – ответил отец. – Но ее крики не имеют значения. Я не слышу ее криков, потому что они не имеют значения.

На верхних нарах муж индианки повернулся лицом к стене. Другая женщина в кухне знаком показала доктору, что вода вскипела. Отец Ника прошел на кухню и половину воды из большого котла отлил в таз.

В котел он положил какие-то инструменты, которые принес с собой завернутыми в носовой платок.

– Это должно прокипеть, – сказал он и, опустив руки в таз, стал тереть их мылом, принесенным с собой из лагеря.

Ник смотрел, как отец трет мылом то одну, то другую руку. Прodelывая это с большим старанием, отец одновременно говорил с Ником.

– Видишь ли, Ник, ребенку полагается идти головой вперед, но это не всегда так бывает. Когда это не так, он всем доставляет массу хлопот. Может быть, понадобится операция. Сейчас увидим.

Когда он убедился, что руки вымыты чисто, он прошел обратно в комнату и приступил к делу.

– Отверни одеяло, Джордж, – сказал он, – я не хочу к нему прикасаться.

Позже, когда началась операция, дядя Джордж и трое индейцев держали женщину. Она укусила дядю Джорджа за руку, и он сказал: «Ах, сукина дочь!» – и молодой индеец, который вез его через озеро, засмеялся. Ник держал таз. Все это тянулось очень долго.

Отец Ника подхватил ребенка, шлепнул его, чтобы вызвать дыхание, и передал старухе.

– Видишь, Ник, это мальчик, – сказал он. – Ну, как тебе нравится быть моим ассистентом?

– Ничего, – сказал Ник. Он смотрел в сторону, чтобы не видеть, что делает отец.

– Так. Ну, теперь все, – сказал отец и бросил что-то в таз.

Ник не смотрел туда.

– Ну, – сказал отец, – теперь только наложить швы. Можешь смотреть, Ник, или нет, как хочешь. Я сейчас буду зашивать разрез.

Ник не стал смотреть. Всякое любопытство у него давно пропало.

Отец кончил и выпрямился. Дядя Джордж и индейцы тоже поднялись. Ник отнес таз на кухню.

Дядя Джордж посмотрел на свою руку. Молодой индеец усмехнулся.

– Сейчас я тебе промою перекисью, Джордж, – сказал доктор.

Он наклонился над индианкой. Она теперь лежала совсем спокойно, с закрытыми глазами. Она была очень бледна. Она не сознавала, ни что с ее ребенком, ни что делается вокруг.

– Я приеду завтра, – сказал доктор. – Сиделка из Сент-Игнеса, наверно, будет здесь в полдень и привезет все, что нужно.

Он был возбужден и разговорчив, как футболист после удачного матча.

– Вот случай, о котором стоит написать в медицинский журнал, Джордж, – сказал он. – Кесарево сечение при помощи складного ножа и швы из девятифутовой вяленой жилы.

Дядя Джордж стоял, прислонившись к стене, и разглядывал свою руку.

– Ну, еще бы, ты у нас знаменитый хирург, – сказал он.

– Надо взглянуть на счастливого отца. Им, пожалуй, всех хуже приходится при этих маленьких семейных событиях, – сказал отец Ника. – Хотя, должен сказать, он это перенес на редкость спокойно.

Он откинул одеяло с головы индейца. Рука его попала во что-то мокрое. Он стал на край нижней койки, держа в руках лампу, и заглянул вверх. Индеец лежал лицом к стене. Горло у него было перерезано от уха до уха. Кровь лужей собралась в том месте, где доски прогнулись под тяжестью его тела. Голова его лежала на левой руке. Открытая бритва, лезвием вверх, валялась среди одеял.

– Уведи Ника, Джордж, – сказал доктор.

Но он поздно спохватился. Нику от дверей кухни отлично были видны верхняя койка и жест отца, когда тот, держа в руках лампу, повернул голову индейца.

Начинало светать, когда они шли обратно по дороге к озеру.

– Никогда себе не прощу, что взял тебя с собой, Ник, – сказал отец. Все его недавнее возбуждение прошло. – Надо ж было случиться такой истории.

– Что, женщинам всегда так трудно, когда у них рождаются дети? – спросил Ник.

– Нет, это был совершенно исключительный случай.

– Почему он убил себя, папа?

– Не знаю, Ник. Не мог вынести, должно быть.

– А часто мужчины себя убивают?

– Нет, Ник. Не очень.

– А женщины?

– Еще реже.

– Никогда?

– Ну, иногда случается.

– Папа!

– Да?

– Куда пошел дядя Джордж?

– Он сейчас придет.

– Трудно умирать, папа?

– Нет. Я думаю, это совсем нетрудно, Ник. Все зависит от обстоятельств.

Они сидели в лодке. Ник – на корме, отец – на веслах. Солнце вставало над холмами. Плеснулся окунь, и по воде пошли круги. Ник опустил руку в воду. В резком холоде утра вода казалась теплой.

В этот ранний час на озере, в лодке, возле отца, сидевшего на веслах, Ник был совершенно уверен, что никогда не умрет.

За топкой низиной виднелись сквозь дождь минареты Адрианополя. Дорога на Карачаг была на тридцать миль забита повозками. Волы и буйволы тащили их по непролазной грязи. Ни конца, ни начала. Одни повозки, груженные всяким скарбом. Старики и женщины, промокшие до костей, шли вдоль дороги, подгоняя скотину. Марица неслась, желтая, почти вровень с мостом. Мост был сплошь забит повозками, и верблюды, покачиваясь, пробирались между ними. Поток беженцев направляла греческая кавалерия. В повозках, среди узлов, матрацев, зеркал, швейных машин, ютились женщины с детьми. У одной начались роды, и сидевшая рядом с ней девушка прикрывала ее одеялом и плакала. Ей было страшно смотреть на это. Во время эвакуации не переставая лил дождь.

Доктор и его жена

Отец Ника нанял Дика Боултона из индейского поселка распилить бревна. Дик привел с собой сына Эдди и еще одного индейца – Билли Тэйбшо. Все трое пришли из лесу через заднюю калитку. Эдди нес длинную поперечную пилу. Пила раскачивалась у Эдди за спиной и звонко гудела в такт его шагам. Билли Тэйбшо нес большие багры. У Дика под мышкой были три топора.

Он повернулся и затворил за собой калитку. Остальные пошли вперед, к берегу озера, где лежали бревна, занесенные песком.

Бревна эти оторвались от больших плотов, которые пароход «Мэджик» вел на буксире вниз по озеру, к лесопилке. Их вынесло на берег, и если они так и останутся здесь, то «Мэджик» рано или поздно вышлет лодку с плотовщиками, плотовщики разыщут бревна, вобьют в каждое по костылю, выведут их в озеро и соберут в новое звено. Но может случиться и так, что с парохода никто не явится, потому что несколько бревен не стоят тех денег, которые пришлось бы заплатить плотовщикам за работу. А если за бревнами никого не пришлют, они будут валяться полузатопленные и в конце концов сгниют.

Отец Ника решил, что именно так оно и будет, и нанял индейцев из поселка распилить бревна поперечной пилой и наколоть дров для плиты и большого камина.

Дик Боултон обогнул коттедж и спустился к озеру. На берегу лежали четыре больших буковых бревна, почти совсем занесенных песком. Эдди повесил пилу на дерево, ручкой в развилину. Дик положил топоры на мостик. Дик был метис, и многие фермеры, жившие у

озера, принимали его за белого. Он был большой лентяй, но если уж брался за работу, то работал как следует. Он вынул из кармана плитку табаку, откусил кусок и сказал что-то Эдди и Билли Тэйбшо на оджибуэйском наречии.

Они воткнули багры в одно из бревен и налегли на них, высвобождая бревно из песка. Они налегли на рукоятки багров всей своей тяжестью. Бревно сдвинулось с места. Дик Боултон оглянулся на отца Ника.

– Как я погляжу, док, – сказал он, – порядочно вы накрали.

– Зачем так говорить, Дик! – сказал доктор. – Их же прибило к берегу.

Эдди и Билли Тэйбшо вывернули бревно из-под сырого песка и покатали его к воде.

– Толкай, толкай! – крикнул им Дик Боултон.

– Зачем это? – спросил доктор.

– Надо обмыть его. Счистить песок, а то пилу испортишь. Я хочу посмотреть, чье это бревно, – сказал Дик.

Бревно плескалось в воде. Взмокшие от натуги Эдди и Билли Тэйбшо стояли, опершись на свои багры. Дик опустился на колени и стал искать отметку, которую дровосек ставит на конце бревна.

– Уайт и Макнелли, – сказал он, поднимаясь и стряхивая песок с колен.

Доктору стало не по себе.

– Тогда не будем его распиливать, – сказал он коротко.

– А вы не обижайтесь, док, – сказал Боултон. – Зачем обижаться? Мне-то не все равно, у кого вы украли? Меня это не касается.

– Если ты считаешь, что бревна краденые, не трогай их. Забирай свои инструменты и уходи, – сказал доктор. Он весь покраснел.

– Чего это вы вдруг заторопились, док? – сказал Боултон. Он выплюнул табачную жижу на бревно. Плевков поплыл по воде, становясь все прозрачнее и прозрачнее. – Вам не хуже моего известно, что бревна краденые. Только меня это не касается.

– Хорошо. Если ты считаешь, что бревна краденые, забирай свое добро и проваливай.

– Ну, док...

– Забирай свое добро и проваливай!

– Послушайте, док...

– Если ты еще раз скажешь «док», я тебе все зубы вышибу.

– А вот не вышибете, док.

Дик Боултон посмотрел на доктора. Дик был громадного роста и прекрасно знал это. Он любил затевать драки. Сейчас Дик был чрезвычайно доволен собой. Эдди и Билли Тэйбшо стояли, опираясь на багры, и смотрели на доктора. Доктор пожевывал бородку и смотрел на Дика Боултона. Потом он повернулся и зашагал вверх по холму, к коттеджу. Даже по спине было видно, как он рассержен. Индейцы смотрели ему вслед до тех пор, пока он не вошел в коттедж.

Дик сказал что-то на оджибуэйском наречии. Эдди рассмеялся, но Билли Тайбшо сохранил серьезный вид. От ссоры с доктором его бросило в жар, хотя он не понимал по-английски. Он был толстяк, с редкими, как у китаец, усами. Он поднял багры на плечо. Дик взял все три топора, а Эдди снял пилу с дерева. Они прошли мимо коттеджа и вышли через заднюю калитку в лес. Дик оставил калитку открытой. Билли Тэйбшо вернулся и притворил ее. Все трое скрылись в лесу.

Сев на кровать у себя в комнате, доктор увидел на полу около стола груды медицинских журналов. Бандероли с них еще не были сорваны. Это рассердило его.

– А ты не пойдешь больше работать, милый? – спросила его жена, лежавшая в соседней комнате, где шторы были опущены.

– Нет.

– Что-нибудь случилось?

– Я поссорился с Диком Боултоном.

– О-о! – сказала его жена. – Надеюсь, ты не вышел из себя, Генри?

– Нет, – сказал доктор.

– Помни, тот, кто смиряет дух свой, сильнее того, кто покоряет города, – сказала его жена. Она была членом Общества христианской науки. В полутемной комнате, на столике около кровати, у нее лежала Библия, книга «Наука и здоровье» и журнал «Христианская наука».

Муж промолчал. Он сидел на кровати и чистил ружье. Он набил магазин тяжелыми желтыми патронами и вытряхнул их обратно. Они рассыпались по кровати.

– Генри! – окликнула его жена. Потом, подождав немного: – Генри!

– Да? – сказал доктор.

– Ты чем-нибудь рассердил Боултона?

– Нет, – сказал доктор.

– А что у вас произошло, милый?

– Ничего особенного.

– Скажи мне, Генри. От меня ничего не надо скрывать. Что у вас произошло?

– Дик должен мне много денег за то, что я вылечил его жену от воспаления легких, и, вероятно, затеял ссору, чтобы не отрабатывать долга.

Его жена молчала. Доктор тщательно вытер ружье тряпкой. Он заложил патроны обратно в магазин. Он сидел, опустив ружье на колени. Он очень дорожил им. Из полутемной комнаты до него снова донесся голос жены:

– Милый, я не думаю, я просто не допускаю мысли, что кто-нибудь способен на такой поступок.

– Да? – сказал доктор.

– Да. Я не могу поверить, что такое можно сделать намеренно.

Доктор поднялся и поставил ружье в угол за шкафом.

– Ты уходишь, милый? – спросила его жена.

– Пойду прогуляюсь, – сказал доктор.

– Если увидишь Ника, милый, скажи ему, что мама зовет его.

Доктор вышел на крыльцо. Дверь за ним захлопнулась со стуком. Он услышал, как жена вздохнула, когда хлопнула дверь.

– Прости, – сказал он, подойдя к окну с опущенной шторой.

– Ничего, милый, – сказала она.

Он открыл калитку и пошел по жаре к пихтовому лесу. В лесу было прохладно даже в такой жаркий день. Он увидел Ника, который сидел, прислонившись к дереву, и читал.

– Пойди к маме, ты ей зачем-то нужен.

– А я хочу с тобой, – сказал Ник.

Отец посмотрел на него.

– Ну что ж, пойдем, – сказал он. – Дай книгу, я ее суну в карман.

– Папа, а я знаю, где есть черные белки, – сказал Ник.

– Ну что ж, – сказал отец. – Пойдем посмотрим.

Мы попали в какой-то сад в Монсе. Бакли вернулся со своим патрулем с того берега реки. Первый немец, которого мне пришлось увидеть, перелезал через садовую ограду. Мы дождались, когда он перекинет ногу на нашу сторону, и ухлопали его. На нем была пропасть всякой амуниции. Он разинул рот от удивления и свалился в сад. Потом через ограду в другом месте стали перелезать еще трое. Мы их тоже подстрелили. Они все так появлялись.

Что-то кончилось

В прежние времена Хортонс-Бей был городком при лесопильном заводе. Жителей его всюду настигал звук больших пил, визжавших на берегу озера. Потом наступило время, когда пилить стало нечего, потому что поставка бревен кончилась. В бухту вошли лесовозные шхуны и приняли баланс, сложенный штабелями во дворе. Груды теса тоже свезли. Заводские рабочие вынесли из лесопилки все оборудование и погрузили его на одну из шхун. Шхуна вышла из бухты в открытое озеро, унося на борту, поверх теса, которым был забит трюм, две большие пилы, тележку для подвоза бревен к вращающимся круглым пилам, все валы, колеса, приводные ремни и металлические части. Грузовой люк ее был затянут брезентом, туго перевязан канатами, и она на всех парусах вышла в открытое озеро, унося на борту все, что делало завод заводом, а Хортонс-Бей – городом.

Одноэтажные бараки, столовая, заводская лавка, контора и сам завод стояли заброшенные среди опилок, покрывавших целые акры болотистого луга вдоль берега бухты.

Через десять лет от завода не осталось ничего, кроме обломков белого известнякового фундамента, проглядывавших сквозь болотный подлесок, мимо которого проплывали в лодке Ник и Марджори. Они ловили рыбу на дорожку у самого берега канала, в том месте, где дно сразу уходит с песчаной отмели вниз, под двенадцать футов темной воды. Спустив с лодки дорожку, они плыли к мысу, расставить там на ночь удочки для ловли радужной форели.

– А вот и наши развалины, Ник, – сказала Марджори.

Занося весла, Ник оглянулся на белые камни среди зелени кустарника.

– Да, они самые, – сказал он.

– Ты помнишь, когда тут был завод? – спросила Марджори.

– Смутно, – сказал Ник.

– Похоже, скорее, будто тут стоял замок, – сказала Марджори.

Ник промолчал. Они плыли вдоль берега, пока завод не скрылся из виду. Тогда Ник направил лодку через бухту.

– Не клюет, – сказал он.

– Да, – сказала Марджори. Она не спускала глаз с дорожки даже во время разговора. Она любила удить рыбу. Она любила удить рыбу с Ником.

У самой лодки блеснула большая форель. Ник налег на правое весло, стараясь повернуть лодку и провести тянущуюся далеко позади наживку в том месте, где охотилась форель. Как только спина форели показалась из воды, пескари метнулись от нее в разные стороны. По воде пошли брызги, точно туда бросили пригоршню дробинки. С другой стороны лодки плеснула еще одна форель.

– Кормятся, – сказала Марджори.

– Да, но клева-то нет, – сказал Ник.

Он повернул лодку так, чтобы провести дорожку мимо охотившихся форелей, а потом стал грести к мысу. Марджори начала наматывать лесу на катушку только тогда, когда лодка коснулась носом берега.

Они вытащили ее на песок, и Ник взял с кормы ведро с живыми окунями. Окунь плавали в ведре. Ник выловил трех, отрезал им головы и счистил чешую, а Марджори все еще шарил руками в ведре; наконец она поймала одного окуня и тоже отрезала ему голову и счистила чешую. Ник посмотрел на рыбку у нее в руке.

– Брюшной плавник не надо срезать, – сказал он. – Для наживки и так сойдет, но с брюшным плавником все-таки лучше.

Он насадил очищенных окуней с хвоста. У каждого удилица на конце поводка было по два крючка. Марджори отъехала от берега, зажав леску в зубах и глядя на Ника, а он стоял на берегу и держал удочку, пока не размоталась вся катушка.

– Ну, кажется, так! – крикнул он.

– Бросать? – спросила Марджори, взяв леску в руку.

– Да, бросай.

Марджори бросила леску за борт и стала смотреть, как наживка уходит под воду.

Она снова подъехала к берегу и проделала то же самое со второй леской. Ник положил по тяжелой доске на конец каждой удочки, чтобы они крепче держались, а снизу подпер их досками поменьше. Потом повернул назад ручки на обеих катушках, туго натянул лески между берегом и песчаным дном канала, куда была брошена наживка, и защелкнул затворы. Плавая в поисках корма у самого дна, форель схватит наживку, кинется с ней, разматывает за собой леску, предохранитель опустится, и катушка зазвенит.

Марджори отъехала подальше, чтобы не задеть лесок. Она налегла на весла, и лодка пошла вдоль берега. Вслед за ней по воде тянулась мелкая рябь. Марджори вышла на берег, и Ник втащил лодку выше, на песок.

– Что с тобой, Ник? – спросила Марджори.

– Не знаю, – ответил Ник, собирая хворост для костра.

Они разложили костер. Марджори сходила к лодке и принесла одеяло. Вечерний ветер относил дым к мысу, и Марджори расстелила одеяло левее, между костром и озером.

Марджори села на одеяло спиной к костру и стала ждать Ника. Он подошел и сел рядом с ней. Сзади них на мысу был частый кустарник, а впереди – залив с устьем Хортонс-Крика. Стемнеть еще не успело. Свет от костра доходил до воды. Им были видны два стальных удилища, поставленных под углом к темной воде. Свет от костра поблескивал на катушках.

Марджори достала из корзинки еду.

– Мне не хочется, – сказал Ник.

– Поешь чего-нибудь, Ник.

– Ну, давай.

Они ели молча и смотрели на удочки и отблески огня на воде.

– Сегодня будет луна, – сказал Ник. Он посмотрел на холмы за бухтой, которые все резче выступали на темном небе. Он знал, что за холмами встает луна.

– Да, я знаю, – сказала Марджори счастливым голосом.

– Ты все знаешь, – сказал Ник.

– Перестань, Ник. Ну, пожалуйста, не будь таким.

– А что я могу поделаться? – сказал Ник. – Ты все знаешь. Решительно все. В том-то и беда. Ты прекрасно сама это знаешь.

Марджори ничего не ответила.

– Я научил тебя всему. Ты же все знаешь. Ну, например, чего ты не знаешь?

– Перестань! – сказала Марджори. – Вон луна выходит.

Они сидели на одеяле, не касаясь друг друга, и смотрели, как поднимается луна.

– Зачем выдумывать глупости? – сказала Марджори. – Говори прямо, что с тобой?

– Не знаю.

– Нет, знаешь.

– Нет, не знаю.

– Ну, скажи мне.

Ник посмотрел на луну, выходящую из-за холмов.

– Скучно.

Он боялся взглянуть на Марджори. Он взглянул на Марджори. Она сидела спиной к нему. Он посмотрел на ее спину.

– Скучно. Все стало скучно.

Она молчала. Он снова заговорил:

– У меня такое чувство, будто все во мне оборвалось. Не знаю, Марджори. Не знаю, что тебе сказать.

Он все еще смотрел ей в спину.

– И любить скучно? – спросила Марджори.

– Да, – сказал Ник.

Марджори встала. Ник сидел, опустив голову на руки.

– Я возьму лодку, – крикнула ему Марджори. – Ты можешь пройти пешком вдоль мыса.

– Хорошо, – сказал Ник. – Я тебе помогу.

– Не надо, – сказала Марджори. Она плыла в лодке по заливу, освещенному луной. Ник вернулся и лег ничком на одеяло у костра. Он слышал, как Марджори работает веслами.

Он долго лежал так. Он лежал так, а потом услышал шаги Билла, вышедшего на просеку из лесу. Он почувствовал, что Билл подошел к костру. Билл не дотронулся до него.

– Ну что, ушла?

– Да, – сказал Ник, уткнувшись лицом в одеяло.

– Устроила сцену?

– Никаких сцен не было.

– Ну, а ты как?

– Уйди, Билл. Погуляй там где-нибудь.

Билл выбрал себе сандвич в корзинке и пошел взглянуть на удочки.

Жарища в тот день была адова. Мы соорудили поперек моста совершенно бесподобную баррикаду. Баррикада получилась просто блеск. Высокая чугунная решетка – с ограды перед домом. Такая тяжелая, что сразу не сдвинешь, но стрелять через нее удобно, а им пришлось бы перелезть. Шикарная баррикада. Они было полезли, но мы стали бить их с сорока шагов. Они брали ее приступом, а потом офицеры одни выходили вперед и пытались свалить ее. Заграждение получилось совершенно идеальное. Офицеры у них держались великолепно. Мы просто рассвирепели, когда узнали, что правый фланг отошел и нам придется отступать.

Трехдневная непогода

Когда Ник свернул на дорогу, проходившую через фруктовый сад, дождь кончился. Фрукты были уже собраны, и осенний ветер шумел в голых ветках. Ник остановился и подобрал яблоко, блестящее от дождя в бурой траве у дороги. Он положил яблоко в карман куртки.

Из сада дорога вела на вершину холма. Там стоял коттедж, на крыльце было пусто, из трубы шел дым. За коттеджем виднелся гараж, курятник и молодая поросль, поднимавшаяся, точно изгородь, на фоне леса. Он взглянул в ту сторону – большие деревья раскачивались вдалеке на ветру. Это была первая осенняя буря.

Когда Ник пересек поле за садом, дверь отворилась, и из коттеджа вышел Билл. Он остановился на крыльце.

– А-а, Уимидж, – сказал он.

– Хэлло, Билл, – сказал Ник, поднимаясь по ступенькам.

Они постояли на крыльце, глядя на озеро, на сад, на поля за дорогой и поросший лесом мыс. Ветер дул прямо с озера. С крыльца им был виден прибой у мыса Тен-Майл.

– Здорово дует, – сказал Ник.

– Это теперь на три дня, – сказал Билл.

– Отец дома? – спросил Ник.

– Нет. Ушел на охоту. Пойдем в комнаты.

Ник вошел в коттедж. В камине ярко горели дрова. Пламя с ревом рвалось в трубу. Билл захлопнул дверь.

– Выпьем? – сказал он.

Он сходил на кухню и вернулся с двумя стаканами и кувшином воды. Ник достал с полки над камином бутылку виски.

- Ничего? – спросил он.
- Давай, давай, – сказал Билл.

Они сидели у камина и пили ирландское виски с водой.

- Приятно отдает дымком, – сказал Ник и посмотрел через стакан на огонь.

- Это от торфа, – сказал Билл.
- Торф не может попасть в виски, – сказал Ник.
- Попал так попал, – сказал Билл.
- А ты видел когда-нибудь торф? – спросил Ник.
- Нет, – сказал Билл.
- И я не видел, – сказал Ник.

Ник протянул ноги к самому огню, и от его башмаков пошел пар.

- Ты бы разулся, – сказал Билл.
- Я без носков.

- Сними башмаки и просуши, а я дам тебе какие-нибудь носки, – сказал Билл. Он поднялся на чердак, и Ник слышал, как он ходит там, наверху. Чердак был под самой крышей, и Билл с отцом и сам Ник иногда спали там. К чердаку примыкал чулан. Они отодвигали койки от того места, где крыша протекала, и застилали их прорезиненными одеялами.

Билл вернулся с парой толстых шерстяных носков.

- Теперь уже поздновато ходить на босу ногу, – сказал он.

- Терпеть не могу влезать в них после лета, – сказал Ник. Он натянул носки и, откинувшись на спинку стула, положил ноги на экран перед, камином.

- Смотри продавишь, – сказал Билл. Ник переложил ноги на выступ камина.

- Есть что-нибудь почитать? – спросил он.
- Только газета.
- Как дела у «Кардиналов»?
- Проиграли подряд две игры «Гигантам».
- Ну, теперь им крышка.

– Нет, на этот раз просто поддались, – сказал Билл. – До тех пор, пока Мак Гроу может купить любого хорошего бейсболиста в Лиге, им бояться нечего.

– Ну, всех-то не купишь, – сказал Ник.

– Кого нужно, покупает, – сказал Билл, – или так их настраивает, что они начинают фордыбачить, и Лига с радостью сплавляет их ему.

– Как было с Хайни Зимом, – подтвердил Ник.

– Много ему проку будет от этой дубины.

Билл встал.

– Он здорово бьет, – сказал Ник. Жар от огня припекал ему ноги.

– Хайни Зим неплох в защите, – сказал Билл. – А все-таки команда из-за него проигрывает.

– Может, поэтому Мак Гроу и держится за Хайни, – сказал Ник.

– Может быть, – согласился Билл.

– Нам с тобой ведь не все известно, – сказал Ник.

– Ну конечно. Хотя для нашей дыры мы не так уж плохо осведомлены.

– Все равно как на скачках: лучше ставить на лошадей, когда их в глаза не видел.

– Вот именно.

Билл взял бутылку виски. Его большая рука охватила всю бутылку. Он налил виски в протянутый Ником стакан.

– Сколько воды?

– Столько же.

Он сел на пол рядом со стулом Ника.

– А хорошо, когда начинается осенняя буря, – сказал Ник.

– Замечательно.

– Самое лучшее время года, – сказал Ник.

– Вот уж не согласился бы жить сейчас в городе, – сказал Билл.

– А я хотел бы посмотреть «Уорлд Сириз», – сказал Ник.

– Ну-у, они теперь играют только в Филадельфии да в Нью-Йорке, – сказал Билл. – Нам от этого ни тепло ни холодно.

– Все-таки интересно, возьмут когда-нибудь «Кардиналы» первенство или нет?

– Как же, дожидайся! – сказал Билл.

– Вот бы обрадовались ребята! – сказал Ник.

– Помнишь, как они разошлись тогда, перед тем как попали в крушение.

– Да-а! – сказал Ник.

Билл потянулся за книгой, которая лежала заглавием вниз на столе у окна, там, куда он положил ее, когда пошел к двери. Прислонившись спиной к стулу Ника, он держал в одной руке стакан, в другой – книгу.

– Что ты читаешь?

– "Ричарда Феверела".

– А я не одолел его.

– Хорошая книга, – сказал Билл. – Неплохая книга, Уимидж.

– А что у тебя есть, чего я еще не читал? – спросил Ник.

– "Любовь в лесу" читал?

– Да. Это про то, как они ложатся спать и кладут между собой обнаженный меч?

– Хорошая книга, Уимидж.

– Книга замечательная. Только я не понимаю, какой им был толк от этого меча? Ведь его все время надо держать лезвием вверх, потому что если меч положить плашмя, то через него можно перекатиться, и тогда он ничему не помешает.

– Это символ, – сказал Билл.

– Наверно, – сказал Ник. – Только здравого смысла в этом ни на грош.

– А «Отвагу» ты читал?

- Вот это интересно! - сказал Ник. - Настоящая книга. Это - где его отец все время донимает. У тебя есть что-нибудь еще Хью Уолпола?

- "Темный лес", - сказал Билл. - Про Россию.

- А что он смыслит в России? - спросил Ник.

- Не знаю. Кто их разберет, этих писателей. Может, он жил там еще мальчишкой. Там много всего про Россию.

- Вот бы с ним познакомиться, - сказал Ник.

- А я бы хотел познакомиться с Честертоном, - сказал Билл.

- Хорошо бы, он был сейчас здесь, - сказал Ник. - Мы бы взяли его завтра на рыбалку в Вуа.

- А может, он не захотел бы пойти на рыбалку? - сказал Билл.

- Еще как захотел бы, - сказал Ник. - Он же замечательный малый. Помнишь «Перелетный кабак»?

Если ангел нам предложит
Воду пить, а не вино, -
Мы поклонимся учтиво
И плеснем ее в окно.

- Правильно, - сказал Ник. - По-моему, он лучше Уолпола.

- Еще бы. Конечно, лучше, - сказал Билл.

- Но Уолпол пишет лучше.

- Не знаю, - сказал Ник. - Честертон классик.

- Уолпол тоже классик, - не сдавался Билл.

- Хорошо бы, они оба были здесь, - сказал Ник. - Мы бы взяли их завтра на рыбалку в Вуа.

- Давай напьемся, - сказал Билл.

- Давай, - согласился Ник.

- Мой старик ругаться не будет, - сказал Билл.

- Ты в этом уверен? - сказал Ник.

- Ну конечно, - сказал Билл.
- А я и так уже немного пьян, - сказал Ник.
- Ничего подобного, - сказал Билл.

Он встал с пола и взял бутылку. Ник подставил ему свой стакан. Он не сводил с него глаз, пока Билли наливал виски.

Билл налил стакан до половины.

- Воды сам добавь, - сказал он. - Тут еще только на одну порцию.

- А больше нет? - спросил Ник.

- Есть сколько хочешь, только отец не любит, когда я починаю бутылку.

- Ну конечно, - сказал Ник.

- Он говорит: те, что починают бутылки, в конце концов спиваются, - пояснил Билл.

- Правильно, - сказал Ник. Это произвело на него большое впечатление. Такая мысль никогда не приходила ему в голову. Он всегда думал, что спиваются те, кто пьет в одиночку.

- А как поживает твой отец? - почтительно спросил он.

- Ничего, - сказал Билл. - Правда, иногда на него находит.

- Он у тебя молодец, - сказал Ник. Он подлил себе в стакан воды из кувшина. Виски медленно смешивалось с водой. Виски было больше, чем воды.

- Что и говорить, - сказал Билл.

- Мой старик тоже неплохой, - сказал Ник.

- Ну, еще бы, - сказал Билл.

- Он уверяет, что никогда в жизни не брал в рот спиртного, - сказал Ник торжественным тоном, точно сообщая о факте, имеющем непосредственное отношение к науке.

- Да, но ведь он доктор. А мой старик - художник. Это совсем другое дело.

– Мой много потерял в жизни, – с грустью сказал Ник.

– Кто его знает, – сказал Билл. – Неизвестно, где найдешь, где потеряешь.

– Он сам говорит, что много потерял, – признался Ник.

– Моему тоже нелегко приходилось, – сказал Билл.

– Значит, один черт, – сказал Ник.

Они смотрели на огонь и размышляли над этой глубокой истиной.

– Пойду принесу полено с заднего крыльца, – сказал Ник. Глядя в камин, он заметил, что огонь начинает гаснуть. Кроме того, ему хотелось доказать, что он умеет пить и не терять здравого смысла. Пусть отец никогда не брал спиртного в рот, Билл все равно не напоит его – Ника, пока сам не напьется.

– Выбери из буковых потолще, – сказал Билл. Он тоже был полон здравого смысла.

Ник возвращался с поленом через кухню и по пути сшиб с кухонного стола кастрюлю. Он положил полено на пол и поднял ее. В кастрюле были замочены сушеные абрикосы. Он старательно подобрал с пола все абрикосы – несколько штук закатилось под плиту – и положил их обратно в кастрюлю. Он подлил в абрикосы воды из стоящего рядом ведра. Он гордился собой. Здравый смысл ни на минуту не изменял ему.

Он подошел с поленом к камину. Билл встал и помог ему положить полено в огонь.

– Полено первый сорт, – сказал Ник.

– Я берег его на случай плохой погоды, – сказал Билл. – Такое всю ночь будет гореть.

– И к утру горячие угли останутся на растопку, – сказал Ник.

– Верно, – согласился Билл. Разговор шел в самом возвышенном тоне.

– Выпьем еще, – сказал Ник.

- В буфете должна быть еще одна початая бутылка, - сказал Билл.

Он присел перед буфетом на корточки и достал оттуда квадратную бутылку.

- Шотландское, - сказал он.

- Пойду за водой, - сказал Ник. Он снова ушел на кухню. Он зачерпнул ковшиком холодной родниковой воды из ведра и налил ее в кувшин. На обратном пути он прошел в столовой мимо зеркала и посмотрелся в него. Узнать себя было трудно. Он улыбнулся лицу в зеркале, и оно ухмыльнулось в ответ. Он подмигнул ему и пошел дальше. Лицо было не его, но это не имело никакого значения.

Билл уже налил виски в стаканы.

- Не многовато ли, - сказал Ник.

- Это нам-то с тобой, Уимидж? - сказал Билл.

- За что будем пить? - спросил Ник, поднимая стакан.

- Давай выпьем за рыбную ловлю, - сказал Билл.

- Хорошо, - сказал Ник. - Джентльмены, да здравствует рыбная ловля!

- Везде и всюду! - сказал Билл. - Где бы ни ловили.

- Рыбная ловля, - сказал Ник. - Пьем за рыбную ловлю!

- А она лучше, чем бейсбол, - сказал Билл.

- Какое же может быть сравнение? - сказал Ник. - Как мы вообще могли говорить о бейсболе?

- Это была ошибка с нашей стороны, - сказал Билл. - Бейсбол - это игра для деревенщины.

Они допили стаканы до дна.

- Теперь выпьем за Честертона.

- И за Уолпола, - подхватил Ник.

Ник налил виски Биллу и себе. Билл подлил в виски воды. Они посмотрели друг на друга. Оба чувствовали себя превосходно.

– Джентльмены, – сказал Билл. – Да здравствуют Честертон и Уолпол.

– Принято, джентльмены, – сказал Ник.

Они выпили. Билл снова налил стаканы. Они сидели в глубоких креслах перед камином.

– Это было очень умно с твоей стороны, Уимидж.

– О чем ты? – спросил Ник.

– О том, что ты порвал с Мардж, – сказал Билл.

– Да, пожалуй, – сказал Ник.

– Так и следовало сделать. Если бы ты не сделал этого, пришлось бы тебе уехать домой, работать и копить деньги на женитьбу.

Ник молчал.

– Раз уж человек женился, пропадающее дело, – продолжал Билл. – Больше ему надеяться не на что. Крышка. Спета его песенка. Ты же видел женатых?

Ник молчал.

– Женатого сразу узнаешь, – сказал Билл. – У них такой сытый, женатый вид. Спета их песенка.

– Правильно, – сказал Ник.

– Может, это было нехорошо, порывать так сразу, – сказал Билл. – Но ведь всегда найдешь, в кого влюбиться, и все будет в порядке. Влюбляйся, только не позволяй им портить тебе жизнь.

– Да, – сказал Ник.

– Если бы ты женился на ней, тебе бы досталась в придачу вся их семья. Вспомни только ее мать и этого типа, за которого она вышла замуж.

Ник кивнул.

– Торчали бы они целыми днями у тебя в доме, а тебе пришлось бы ходить к ним по воскресеньям обедать и приглашать их к себе, а она все время учила бы Мардж, что надо делать и чего не надо.

Ник сидел молча.

– Ты еще легко отделался, – сказал Билл. – Теперь она может выйти замуж за кого-нибудь, кто ей под

пару, обзаведется семьей и будет счастлива. Масла с водой не смешаешь, и в этих делах тоже ничего не следует мешать. Все равно, как если бы я женился на Аиде, которая служит у Стрэттонов. Она, наверно, была бы не прочь.

Ник молчал. Опьянение прошло и оставило его наедине с самим собой. Не было здесь Билла. Сам он не сидел перед камином, не собирался идти завтра на рыбалку с Биллом и его отцом. Он не был пьян. Все прошло. Он знал только одно: когда-то у него была Марджори, а теперь он ее потерял. Она ушла, он прогнал ее. Все остальное не имело никакого значения. Может быть, он никогда больше ее не увидит. Наверно, никогда не увидит. Все ушло, кончилось.

– Выпьем еще, – сказал Ник.

Билл налил виски. Ник подбавил в стаканы немного воды.

– Если бы ты не покончил со всем этим, мы бы не сидели сейчас здесь, – сказал Билл.

Это было верно. Раньше Ник собирался уехать домой и подыскать работу. Потом решил остаться на зиму в Шарльвуа, чтобы быть поближе к Марджори. Теперь он сам не знал, что ему делать.

– Мы бы, наверно, и на рыбную ловлю завтра не пошли, – сказал Билл. – Нет, ты правильно поступил.

– А что я мог с собой поделаться? – сказал Ник.

– Знаю. Так всегда бывает, – сказал Билл.

– Вдруг все кончилось, – сказал Ник. – Почему так получилось, не знаю. Я ничего не мог с собой поделаться. Все равно как этот ветер: налетит – и в три дня не оставит ни одного листка на деревьях.

– Кончилось – и кончилось. Это самое главное, – сказал Билл.

– По моей вине, – сказал Ник.

– По чьей вине, это не важно, – сказал Билл.

– Да, верно, – сказал Ник.

Самое главное было то, что Марджори ушла, и он, вероятно, никогда больше не увидит ее. Он говорил с ней о том, как они поедут в Италию, как им там будет хорошо вдвоем. О местах, в которых они побывают. Все это ушло теперь. И он сам что-то потерял.

– Кончилось, и точка, а остальное пустяки, – сказал Билл. – Знаешь, Уимидж, я очень за тебя беспокоился, пока это тянулось. Ты правильно поступил. Ее мамаша на стену лезет от досады. Она всем говорила, что вы помолвлены.

– Мы не были помолвлены, – сказал Ник.

– А говорят, что были.

– Я тут ни при чем, – сказал Ник. – Мы не были помолвлены.

– Разве вы не собирались пожениться? – спросил Билл.

– Собирались. Но мы не были помолвлены, – сказал Ник.

– Тогда какая разница? – скептически спросил Билл.

– Не знаю. Разница все-таки есть.

– Я ее не вижу, – сказал Билл.

– Ладно, – сказал Ник. – Давай напьемся.

– Ладно, – сказал Билл. – Напьемся по-настоящему.

– Напьемся, а потом пойдем купаться, – сказал Ник.

Он допил свой стакан.

– Мне ее очень жалко, но что я мог поделать? – сказал он. – Ты же знаешь, какая у нее мать.

– Ужасная! – сказал Билл.

– Вдруг все кончилось, – сказал Ник. – Только напрасно я с тобой заговорил об этом.

– Ты не заговаривал, – сказал Билл. – Это я начал. А теперь все. Больше никогда не будем говорить об этом. Ты только не задумывайся. А то опять примешься за старое.

Такая мысль не приходила Нику в голову. Казалось, все было решено бесповоротно. Над этим стоило

подумать. Ему стало легче.

– Конечно, – сказал он. – Это всегда может случиться.

Ему снова стало хорошо. Нет ничего непоправимого. Можно пойти в город в субботу вечером. Сегодня четверг.

– Это не исключено, – сказал он.

– Держи себя в руках, – сказал Билл.

– Постараюсь, – сказал он.

Ему было хорошо. Ничего не кончено. Ничего не потеряно. В субботу он пойдет в город. Он чувствовал ту же легкость на душе, что была в нем до того, как Билл начал этот разговор. Лазейку всегда можно найти.

– Давай возьмем ружья и пойдем на мыс, поищем твоего родителя, – сказал Ник.

– Давай.

Билл снял со стены два дробовика. Потом открыл ящик с патронами. Ник надел куртку и башмаки. Башмаки покособились от огня. Ник все еще не протрезвился, но голова у него была свежая.

– Ну, как ты? – спросил он.

– Прекрасно. В самый раз. – Билл застегивал куртку.

– А напиваться все-таки не стоит.

– Да, пожалуй. Надо было давно пойти погулять.

Они вышли на крыльцо. Ветер бушевал вовсю.

– От такого ветра все птицы в траву попадают, – сказал Билл.

Они пошли к саду.

– Я видел вальдшнепа сегодня утром, – сказал Билл.

– Может, нам удастся поднять его, – сказал Ник.

– При таком ветре нельзя стрелять, – сказал Билл.

На воздухе вся история с Мардж не казалась такой трагической. Это было вовсе не так уж важно. Ветер унес все это с собой.

– Прямо с большого озера дует, – сказал Ник.

До них донесся глухой звук выстрела.

- Это отец, - сказал Билл. - Он там, на болоте.
- Пойдем напрямиком, - сказал Ник.
- Пойдем нижним лугом, может, поднимем какую-нибудь дичь, - сказал Билл.
- Ладно, - сказал Ник.

Теперь это было совершенно не важно. Ветер выдул все у него из головы. Тем не менее в субботу вечером можно сходить в город. Неплохо иметь это про запас.

Шестерых министров расстреляли в половине седьмого утра у стены госпиталя. На дворе стояли лужи. На каменных плитах было много опавших листьев. Шел сильный дождь. Все ставни в госпитале были наглухо заколочены. Один из министров был болен тифом. Два солдата вынесли его прямо на дождь. Они пытались поставить его к стене, но он сполз в лужу. Остальные пять неподвижно стояли у стены. Наконец офицер сказал солдатам, что поднимать его не стоит. Когда дали первый залп, он сидел в воде, уронив голову на колени.

Чемпион

Ник встал. Он был невредим. Он взглянул на рельсы, на огни последнего вагона, исчезающего за поворотом. По обе стороны железнодорожных путей была вода, а дальше – болото. Он ощупал колено. Штаны были разорваны и кожа содрана. На руках ссадины, песок и зола забились под ногти. Он подошел к краю насыпи, спустился по отлогому склону к воде и стал мыть руки. Он мыл их тщательно в холодной воде, вычищая грязь из-под ногтей. Потом присел на корточки и обмыл колено.

– Вот сволочь, тормозной! Доберусь до него когда-нибудь. Уж я его не забуду! Удружил, нечего сказать! «Поди сюда, паренек, говорит, посмотри-ка, что я тебе покажу».

Он попался на удочку. Вот дурак! Но уж больше его не проведут.

«Поди сюда, паренек, посмотри-ка, что я тебе покажу». Потом – бац! И он упал на четвереньки у самых рельсов.

Ник потерял глаз. Над глазом вспухла большая шишка. Непременно синяк будет. Глаз уже болел.

– Вот чертов сын, тормозной!

Он потрогал шишку над глазом. Ну ничего, синяк будет, только и всего. Он еще дешево отделался. Хорошо бы посмотреть, как его разукрасило. В воде не увидишь. Уже стемнело, а он был далеко от жилья. Он вытер руки о штаны, встал и полез вверх по железнодорожной насыпи.

Он пошел по путям. На насыпи было много балласта, и идти было легко. Нога твердо ступала по утрамбованному песку и гравию. Полотно, ровное, как

шоссе, пересекало болото. Ник шел и шел. Он должен добраться до жилья.

На товарный поезд Ник вскочил неподалеку от разъезда Уолтон, когда поезд замедлил ход. Калкаску проехали, когда уже начало темнеть. Теперь, наверное, до Манселоны недалеко, мили три-четыре. Он шагал по полотну, стараясь ступать между шпалами; болото терялось в поднимающемся тумане. Глаз болел, и хотелось есть. Он все шел, оставляя позади милю за милей. По обе стороны насыпи все время тянулось болото.

Показался мост. Ник прошел его; шаги гулко раздавались по чугуну. Внизу, сквозь щели между шпалами, чернела вода. Ник столкнул ногой валявшийся на мосту костыль, и он упал в воду. За мостом начались холмы. Они поднимались черной громадой по обе стороны путей. Впереди Ник увидел костер.

Осторожно ступая, он пошел на огонь. Костер был немного в стороне от путей, под железнодорожной насыпью. Нику был виден только его отсвет. Пути шли между холмами, и там, где горел костер, выемка как бы раздвинулась и терялась в лесу. Ник осторожно сполз с насыпи и вошел в лес, чтобы между деревьями пробраться к костру. Лес был буковый, и он чувствовал под ногами шелуху буковых орешков. С опушки леса костер казался ярким. Возле него сидел человек. Ник остановился за деревом и стал приглядываться. По-видимому, человек был один. Он сидел, подперев голову руками, и смотрел на костер. Ник шагнул вперед и вошел в освещенное пространство.

Человек сидел и смотрел в огонь. Когда Ник остановился совсем рядом с ним, он не шевельнулся.

– Хэлло! – сказал Ник.

Человек поднял глаза.

– Где фонарь заработал? – сказал он.

– Тормозной кондуктор двинул.
– Снимал с товарного?
– Да.
– Видел каналью, – сказал человек. – Проехал здесь часа полтора назад. Шел по крышам вагонов, похлопывал себя по бокам и распевал.
– Вот каналья!
– Он, наверно, рад, что спихнул тебя, – сказал человек серьезно.
– Я еще отплачу ему.
– Подстереги его с камнем, когда он будет проезжать обратно, – посоветовал человек.
– Я доберусь до него.
– Ты упрям, видно, а?
– Нет, – ответил Ник.
– Все вы, мальчишки, упрямые.
– Приходится быть упрямым, – сказал Ник.
– Вот и я говорю.
Человек посмотрел на Ника и улыбнулся. На свету Ник увидел, что лицо у него обезображено. Расплющенный нос, глаза – как щелки, и бесформенные губы. Ник рассмотрел все это не сразу; он увидел только, что лицо у человека было бесформенное и изуродованное. Оно походило на размалеванную маску. При свете костра оно казалось мертвым.
– Что, нравится моя сковородка? – спросил человек.
Ник смутился.
– Да, – сказал он.
– Смотри.
Человек снял кепку.
У него было только одно ухо. Оно было распухшее и плотно прилегало к голове. На месте другого уха – культяпка.
– Видал когда-нибудь таких?
– Нет, – сказал Ник. Его слегка затошнило.

– Таких больше нет, – сказал человек. – Правда, таких больше нет, малыш?

– Еще бы!

– Кто только меня не бил! – сказал маленький человек. – А мне хоть бы что.

Он смотрел на Ника.

– Садись, – сказал он. – Есть хочешь?

– Не беспокойтесь, – сказал Ник. – Я иду в город.

– Знаешь, – сказал человек, – зови меня Эд.

– Ладно.

– Знаешь, – сказал человечек, – у меня не все в порядке.

– Что с вами?

– Я сумасшедший.

Он надел кепку. Нику стало смешно.

– Да у вас все в порядке, – сказал он.

– Нет, не все. Я – сумасшедший. Послушай, ты был когда-нибудь сумасшедшим?

– Нет, – сказал Ник. – Отчего это случается?

– Не знаю, – сказал Эд. – Случится – и не заметишь как. Ты ведь знаешь меня?

– Нет.

– Я Эд Фрэнсис.

– Ей-богу?

– Не веришь?

– Верю.

Ник почувствовал, что это правда.

– Знаешь, чем я беру?

– Нет, – сказал Ник.

– У меня редкий пульс. Всего сорок в минуту. Пощупай.

Ник колебался.

– Иди сюда. – Человек ваял его за руку. – Возьмись вот тут. Пальцы положи так.

Запястье у маленького человечка было широкое, и под кожей вздымались мышцы. Ник почувствовал

медленное биение под пальцами.

– Часы есть?

– Нет.

– У меня тоже нет, – сказал Эд. – Тогда ничего не выйдет, если часов нет.

Ник отпустил руку.

– Послушай, – сказал Эд Фрэнсис, – возмись снова. Ты слушай, я буду считать до шестидесяти.

Ощущая под пальцами медленные, резкие удары, Ник начал считать. Он слышал, как маленький человечек медленно считал вслух – раз, два, три, четыре, пять...

– Шестьдесят, – кончил Эд. – Минута. А у тебя сколько?

– Сорок, – сказал Ник.

– Верно! – обрадовался Эд. – Никогда не учащается.

С насыпи спустился человек, пересек лужайку и подошел к костру.

– Хэлло, Багс! – сказал Эд.

– Хэлло! – ответил Багс.

Поговору это был негр. Ник уже по шагам знал, что это негр. Он стоял к ним спиной, наклонясь к огню. Потом выпрямился.

– Это мой друг, Багс, – сказал Эд. – Он тоже сумасшедший.

– Очень приятно, – сказал Багс. – Так вы откуда, говорите?

– Из Чикаго, – сказал Ник.

– Славный город, – сказал негр. – Я не расслышал, как вас зовут?

– Адамс. Ник Адамс.

– Он говорит, что никогда не был сумасшедшим, Багс, – сказал Эд.

– У него еще все впереди, – сказал негр. Он разворачивал сверток, стоя у огня.

– Скоро есть будем, Багс? – спросил боксер.

- Сейчас.
- Ты голоден, Ник?
- Как собака.
- Слышишь, Багс?
- Я обычно все слышу.
- Да я не о том спрашиваю.
- Да. Я слышал, что сказал этот джентльмен.

Он клал на сковородку куски ветчины. Когда сковородка накалилась и сало стало брызгать, Багс, нагнувшись над костром на своих длинных, как у всех негров, ногах, перевернул куски сала и стал разбивать о сковородку яйца и выливать их на горячее сало.

- Нарезьте, пожалуйста, хлеба, мистер Адамс, он там, в мешке. - Багс повернул голову.

- С удовольствием.

Ник подошел к мешку и достал каравай хлеба. Отрезал шесть ломтей.

Эд нагнулся вперед и наблюдал за ним.

- Дай-ка мне нож, Ник, - сказал он.

- Нет, не давайте, - сказал негр. - Держите нож крепче, мистер Адамс.

Боксер откинулся назад.

- Будьте добры, передайте мне этот хлеб, мистер Адамс, - попросил Багс.

Ник принес ему хлеб.

- Любите макать хлеб в сало? - спросил негр.

- Ну, еще бы!

- Этим лучше займемся потом, на закуску. Пожалуйста.

Негр взял кусок сала, положил его на ломоть хлеба и сверху прикрыл яйцом.

- Теперь накройте еще куском хлеба и передайте, пожалуйста, сэндвич мистеру Фрэнсису.

Эд взял сэндвич и принялся за еду.

- Смотрите, чтобы яйцо не потекло, - предупредил негр. - Это вам, мистер Адамс. Остальное мне.

Ник впился зубами в сандвич. Негр сидел против него, рядом с Эдом. Горячее поджаренное сало с яйцом было замечательно вкусно.

– Мистер Адамс здорово проголодался, – сказал негр.

Маленький человечек, имя которого было знакомо Нику как имя чемпиона по боксу, сидел молча. Он не произнес ни слова после разговора о ноже.

– Разрешите обмакнуть ваш хлеб в сало? – сказал Багс.

– Большое спасибо.

Маленький белый человечек посмотрел на Ника.

– А вам, мистер Эдольф Фрэнсис? – предложил Багс.

Эд не отвечал. Он смотрел на Ника.

– Мистер Фрэнсис! – раздался мягкий голос негра.

Эд не отвечал. Он смотрел на Ника.

– Я вас спрашиваю, мистер Фрэнсис, – мягко повторил негр.

Эд продолжал смотреть на Ника. Кепка у него была надвинута на глаза. Нику стало не по себе.

– Какой черт тебя сюда принес? – раздался резкий вопрос из-под кепки. – Кого ты из себя корчишь? Ты, сопляк несчастный! Приходит, куда его не звали, а попросишь нож, так корчит из себя...

Он не спускал глаз с Ника, лицо у него было белое, а глаз почти не было видно из-под козырька.

– Ты, недоносок! Кто тебя сюда звал?

– Никто.

– Правильно, черт побери, никто не звал. И оставаться никто не просил. Пришел, наговорил гадостей о моем лице, курит мои сигары, пьет мое вино, да еще рассуждает, сопляк! Ты думаешь, тебе это так сойдет?

Ник ничего не ответил. Эд встал.

– погоди, желторотая чикагская каналья! Я тебе голову проломлю! Понял?

Ник подался назад. Маленький человечек медленно шел на него, тяжело ступая, выставляя вперед левую ногу и потом подтягивая к ней правую.

– Ударь меня! – качнул он головой. – Попробуй только!

– Да я не хочу.

– Тебе это так не сойдет. Ты еще попробуешь моих кулаков, слышишь? Ну, бей первый!

– Бросьте вы, – сказал Ник.

– Ах, ты так, каналья!

Маленький человечек посмотрел на ноги Ника. Когда он опустил глаза, негр, шедший за ним от самого костра, нацелился и ударил его по затылку. Он упал вперед, и Багс уронил на траву кастет, обмотанный тряпкой. Маленький человек лежал, уткнувшись лицом в траву. Негр поднял Эда и отнес к Костру. Голова у него свесилась, лицо было страшно, глаза открыты. Багс бережно положил его на землю.

– Принесите, пожалуйста, ведро с водой, мистер Адамс, – сказал он. – Боюсь, что ударил его чересчур сильно.

Негр брызнул ему в лицо водой и осторожно потянул за ухо. Глаза закрылись.

Негр выпрямился.

– Все в порядке, – сказал он. – Беспокоиться нечего. Простите, мистер Адамс.

– Ничего, ничего.

Ник смотрел вниз, на маленького человечка. Он увидел на траве кастет и поднял его. Ручка гнулась, и ему показалось, что он мягкий. Черная кожа на нем была потерта, а тяжелый конец был обмотан носовым платком.

– Ручка из китового уса, – улыбнулся негр. – Таких теперь не делают. Я не знал, сумеете ли вы с ним справиться, и потом, не хотел, чтобы вы ударили его или изуродовали еще больше.

Негр опять улыбнулся.

– Но вы сами его ударили.

– Я знаю, как ударить. Он даже знать не будет. Мне приходится делать это, чтобы успокоить его в такие минуты.

Ник все еще смотрел на маленького человечка, лежавшего с закрытыми глазами в свете костра. Багс подбросил дров в огонь.

– Не бойтесь за него, мистер Адамс. Я вижу его таким не первый раз.

– Отчего он свихнулся? – спросил Ник.

– О, от многого, – ответил негр, стоя у костра. – Не хотите ли чашку кофе, мистер Адамс?

Он протянул Нику чашку и поправил пальто, которое он подложил под голову человека, лежащего без чувств.

– Во-первых, его слишком много били. – Негр потягивал кофе. – Но от этого он только поглупел. Потом за импресарио у него была сестра, и в газетах всегда писали всякое про братьев и сестер и о том, как она любила брата и как он любил сестру, и они поженились а Нью-Йорке, и из-за этого вышло много неприятностей.

– Я помню это.

– Ну вот. Конечно, они такие же брат с сестрой, как мы с вами, но все равно, многим это не понравилось, и между ними начались ссоры, и однажды она просто уехала и больше не вернулась.

Он допил кофе и вытер губы розовой ладонью.

– Он сразу и сошел с ума. Хотите еще кофе, мистер Адамс?

– Спасибо.

– Я видел ее несколько раз, – продолжал негр. – Она ужасно красивая женщина. Похожа на него как две капли воды. Он был бы совсем недурен, если бы лицо ему не изуродовали.

Он остановился. Казалось, рассказ на этом кончился.

– Где вы с ним познакомились? – спросил Ник.

– В тюрьме, – сказал негр. – Он стал бросаться на людей, с тех пор как она ушла, и его посадили в тюрьму. А меня – за то, что человека зарезал. – Он улыбнулся и продолжал тихо: – Он мне сразу понравился, и, когда я вышел, я разыскал его. Ему нравится считать меня сумасшедшим, а мне все равно. Мне нравится быть с ним, и я люблю путешествовать, и воровать для этого не приходится. Мне нравится жить по-джентльменски.

– Что же вы с ним делаете?

– Да ничего. Просто ездим с места на место. У него есть деньги.

– Он, наверно, здорово зарабатывал?

– Еще бы! Хотя он уже все прожил. А может быть, обворовали. Она присылает ему деньги.

Он поправил костер.

– Она замечательная женщина, – сказал он. – Она похожа на него как две капли воды.

Негр оглянулся на маленького человечка, который тяжело дышал. Его светлые волосы свисали на лоб. Изуродованное лицо было по-детски безмятежно.

– Я могу привести его в чувство в любую минуту, мистер Адамс. Не сердитесь, но я думаю, вам лучше уйти. Я не хочу быть невежливым, а увидя вас, он может опять выйти из себя. Терпеть не могу бить его, но это единственный способ его успокоить, когда он разойдется. Мне приходится держать его подальше от людей. Вы не сердитесь, мистер Адамс? Нет, не благодарите меня, мистер Адамс. Мне следовало предупредить вас, но мне показалось, что вы ему очень понравились, и я надеялся, что все обойдется хорошо. До города по полотну всего две мили. Он называется Манселона. Прощайте! Я с удовольствием пригласил бы

вас переночевать с нами, но об этом и говорить нечего. Может, возьмете с собой хлеба с салом? Нет? Возьмите все-таки сандвич.

Все это он говорил низким, ровным, вежливым голосом.

– Вот и хорошо. Ну, прощайте, мистер Адамс. Прощайте! Всего вам доброго!

Ник пошел прочь от костра, пересек лужайку и направился к железнодорожным путям. Вступив в темноту, он прислушался. Негр говорил низким, мягким голосом. Ник не различал слов. Потом он услышал, как маленький человечек сказал:

– У меня ужасно болит голова, Багс.

– Ничего, пройдет, мистер Фрэнсис, – утешал голос негра. – Выпейте чашку горячего кофе.

Ник вскарабкался на насыпь и пошел по путям. Он заметил, что держит в руке сандвич с салом, и сунул его в карман. Пока рельсы не повернули за холм, он оглядывался назад и видел отсвет костра у опушки леса.

Ник сидел, прислонясь к стене церкви, куда его притащили с улицы, чтобы укрыть от пулеметного огня. Ноги его неестественно торчали. У него был задет позвоночник. Лицо его было потное и грязное. Солнце светило ему прямо в лицо. День был очень жаркий. Ринальди лежал среди разбросанной амуниции ничком у стены, выставив широкую спину. Ник смотрел прямо перед собой блестящими глазами. Розовая стена дома напротив рухнула, отвалившись от крыши, и над улицей повисла исковерканная железная кровать. В тени дома, на груде щебня, лежали два убитых австрийца. Дальше по улице были еще убитые. Бой в городе приближался к концу. Все шло хорошо. Теперь с минуты на минуту можно было ожидать санитаров. Ник осторожно повернул голову и посмотрел на Ринальди. "Senta^[2], Ринальди, senta. Оба мы с тобой заключили сепаратный мир". Ринальди неподвижно лежал на солнце и тяжело дышал. «Мы с тобой плохие патриоты». Ник осторожно отвернулся, силясь улыбнуться. Ринальди был безнадежным собеседником.

Очень короткий рассказ

Душным вечером в Падуе его вынесли на крышу, откуда он мог смотреть вдаль, поверх городских домов. В небе летали стрижи. Скоро стемнело, и зажглись прожекторы. Все остальные пошли вниз и взяли с собой бутылки. Он и Люз слышали их голоса внизу, на балконе. Люз присела на край кровати. Она была свежая и прохладная в духоте ночи.

Люз уже три месяца несла ночное дежурство. Ей охотно позволяли это. Она сама готовила его к операции; и они придумали забавную шутку насчет подружки и кружки. Когда ему давали наркоз, он старался не потерять власти над собой, чтобы не сказать чего-нибудь лишнего в приступе нелепой болтливости. Как только ему разрешили передвигаться на костылях, он стал сам разносить термометры раненым, чтобы Люз не нужно было вставать с постели. Раненых было мало, и они знали обо всем. Они все любили Люз. На обратном пути, проходя по коридору, он думал о том, что Люз лежит в его постели.

Когда пришло время возвращаться на фронт, они пошли в Duomo^[3] помолиться. Там было тихо и полутемно, и, кроме них, были еще молящиеся. Они хотели пожениться, но времени для оглашения оставалось слишком мало, и потом, у них не было метрических свидетельств. Они чувствовали себя мужем и женой, но им хотелось, чтобы все знало об этом и чтобы это было прочно.

Люз писала ему много писем, которые дошли только после перемирия. Он их получил на фронте, пятнадцать сразу, подобрал их по числам и прочел все подряд. В них говорилось о госпитальных новостях и о том, как

сильно она его любит, и как она жить без него не может, и как ей не хватает его по ночам.

После перемирия они решили, что он поедет на родину и будет искать работу, чтобы они могли пожениться. Люз вернется только тогда, когда он получит хорошую работу и сможет встретить ее в Нью-Йорке. Он не должен пить, и он не будет встречаться ни с кем из своих приятелей и вообще ни с кем в Штатах. Прежде всего – достать работу и пожениться. По дороге из Падуи в Милан они поссорились из-за того, что она не хотела сразу же ехать домой. На миланском вокзале, когда пришло время прощаться, они поцеловались, но ссора еще не была забыта. Ему было досадно, что они так нехорошо простились.

В Генуе он сел на пароход, отходивший в Америку. Люз поехала в Порденоне, где открывался новый госпиталь. Там было сыро и дождливо, и в городе стоял батальон Ардитти. Коротая зиму в этом грязном, дождливом городишке, майор батальона стал ухаживать за Люз, а у нее раньше не было знакомых итальянцев, и в конце концов она написала в Штаты, что их любовь была только детским увлечением. Ей очень грустно, и она знает, что, вероятно, он не поймет ее, но, быть может, когда-нибудь он простит и будет ей благодарен, а теперь она совершенно неожиданно для себя собирается весной выйти замуж. Она по-прежнему любит его, но ей теперь ясно, что это только детская любовь. Она не сомневается, что перед ним большое будущее, и твердо верит в него. Она знает, что все это к лучшему.

Майор не женился на ней ни весной, ни позже. Люз так и не получила из Чикаго ответа на свое письмо. А он вскоре после того заразился гонореей от продавщицы универсального магазина, с которой катался в такси по Линкольн-парку.

Когда артиллерийский огонь разносил окопы у Фоссальты, он лежал плашмя и, обливаясь потом, молился: «Иисусе, выведи меня отсюда, прошу тебя, Иисусе. Спаси, спаси, спаси меня. Сделай, чтобы меня не убили, и я буду жить, как ты велишь. Я верю в тебя, я всем буду говорить, что только в тебя одного нужно верить. Спаси, спаси меня, Иисусе». Огонь передвинулся дальше по линии. Мы стали исправлять окоп, а наутро взошло солнце, и день был жаркий, и тихий, и радостный, и спокойный. На следующий вечер, вернувшись в Местре, он не сказал ни слова об Иисусе той девушке, с которой ушел наверх в «Вилла-Росса». И никому никогда не говорил.

Дома

Кребс ушел на фронт из методистского колледжа в Канзасе. Есть фотография, на которой он стоит среди студентов-однокурсников, и все они в воротничках совершенно одинакового фасона и высоты. В 1917 году он записался во флот и вернулся в Штаты только после того, как вторая дивизия была отозвана с Рейна летом 1919 года.

Есть фотография, на которой он и еще один капрал сняты где-то на Рейне с двумя немецкими девушками. Мундиры на Кребсе и его приятеле кажутся слишком узкими. Девушки некрасивы. Рейна на фотографии не видно.

К тому времени, когда Кребс вернулся в свой родной город в штате Оклахома, героев уже перестали чествовать. Он вернулся слишком поздно. Всем жителям города, которые побывали на войне, устраивали торжественную встречу. В этом было немало военной истерии. А теперь наступила реакция. Всем как будто казалось, что смешно возвращаться так поздно, через несколько лет после окончания войны.

Сначала Кребсу, побывавшему под Белло Суассоном, в Шампани, Сен-Мигеле и в Аргоннском лесу, совсем не хотелось разговаривать о войне. Потом у него возникла потребность говорить, но никому уже не хотелось слушать. В городе до того наслушались рассказов о немецких зверствах, что действительные события уже не производили впечатления. Кребс понял, что нужно врать, для того чтобы тебя слушали. И, соврав дважды, почувствовал отвращение к войне и к разговорам о ней. Отвращение ко всему, которое он часто испытывал на фронте, снова овладело им оттого, что ему пришлось врать. То время, вспоминая о котором он чувствовал

внутреннее спокойствие и ясность, то далекое время, когда он делал единственное, что подобает делать мужчине, делал легко и без принуждения, сначала утратило все, что было в нем ценного, а потом и само позабылось.

Врал он безобидно, приписывая себе то, что делали, видели и слышали другие, и выдавая за правду фантастические слухи, ходившие в солдатской среде. Но в бильярдной эти выдумки не имели успеха. Его знакомые, которые слыхали обстоятельные рассказы о немецких женщинах, прикованных к пулеметам в Арденнском лесу, как патриоты не интересовались неприкованными немецкими пулеметчиками и были равнодушны к его рассказам.

Кребсу стало противно преувеличивать и выдумывать, и когда он встречался с настоящим фронтовиком, то, поговорив с ним несколько минут в курительной на танцевальном вечере, он впадал в привычный тон бывалого солдата среди других солдат: на фронте он, мол, все время чувствовал только одно – непрерывный, тошнотворный страх. Так он потерял и последнее.

Лето шло к концу, и все это время он вставал поздно, ходил в библиотеку менять книги, завтракал дома, читал, сидя на крыльце, пока не надоест, а потом отправлялся в город провести самые жаркие часы в прохладной темноте бильярдной. Он любил играть на бильярде.

По вечерам он упражнялся на кларнете, гулял по городу, читал и ложился спать. Для двух младших сестер он все еще был героем. Мать стала бы подавать ему завтрак в постель, если бы он этого потребовал. Она часто входила к нему, когда он лежал в постели, и просила рассказать ей о войне, но слушала невнимательно. Отец его был неразговорчив.

До того как Кребс ушел на фронт, ему никогда не позволяли брать отцовский автомобиль. Отец его был агент по продаже недвижимости, и ему каждую минуту могла понадобиться машина, чтобы везти клиентов за город для осмотра земельных участков. Машина всегда стояла перед зданием Первого национального банка, где на втором этаже помещалась контора его отца. И теперь, после войны, машина была все та же.

В городе ничего не изменилось, только девочки стали взрослыми девушками. Но они жили в таком сложном мире давно установившейся дружбы и мимолетных ссор, что у Кребса не хватало ни энергии, ни смелости войти в этот мир. Но смотреть на них он любил. Так много было красивых девушек! Почти все они были стриженные. Когда он уезжал, стриженными ходили только маленькие девочки, а из девушек только самые бойкие. Все они носили джемперы и блузки с круглыми воротниками. Такова была мода. Он любил смотреть с крыльца, как они прохаживаются по другой стороне улицы. Он любил смотреть, как они гуляют в тени деревьев. Ему нравились круглые воротнички, выпущенные из-под джемперов. Ему нравились шелковые чулки и туфли без каблуков. Нравились стриженные волосы, нравилась их походка.

Когда он видел их в центре города, они не казались ему такими привлекательными. В греческой кондитерской они просто не нравились ему. В сущности, он в них не нуждался. Они были слишком сложны для него. Было тут и другое. Он смутно ощущал потребность в женщине. Ему нужна была женщина, но лень было ее добиваться. Он был не прочь иметь женщину, но не хотел долго добиваться ее. Не хотел никаких уловок и ухищрений. Он не хотел тратить время на ухаживание. Не хотел больше врать. Дело того не стоило.

Он не хотел себя связывать. Он больше не хотел себя связывать. Он хотел жить, не связывая себя ничем. Да и не так уж была ему нужна женщина. Армия приучила его жить без этого. Было принято делать вид, что не можешь обойтись без женщины. Почти все так говорили. Но это была неправда. Женщина была вовсе не нужна. Это и было самое смешное. Сначала человек хвастался тем, что женщины для него ничего не значат, что он никогда о них не думает, что они его не волнуют. Потом он хвастался, что не может обойтись без женщин, что он дня не может без них прожить, что он не может уснуть без женщины.

Все это было вранье. И то и другое было вранье. Женщина вовсе не нужна, пока не начнешь о ней думать. Он научился этому в армии. А тогда ее находишь, рано или поздно. Когда приходит время, женщина всегда найдется. И заботиться не надо. Рано или поздно оно само придет. Он научился этому в армии.

Теперь он был бы не прочь иметь женщину, но только так, чтоб она пришла к нему сама и чтоб не нужно было разговаривать. Но здесь все это было слишком сложно. Он знал, что не сможет проделывать все, что полагается. Дело того не стоило. Вот чем были хороши француженки и немки. Никаких этих разговоров. Много разговаривать было трудно, да оно и ни к чему. Все было очень просто и не мешало им оставаться друзьями. Он думал о Франции, а потом начал думать о Германии. В общем, Германия ему понравилась больше. Ему не хотелось уезжать из Германии. Не хотелось возвращаться домой. И все-таки он вернулся. И сидел на парадном крыльце.

Ему нравились девушки, которые прохаживались по другой стороне улицы. По внешности они нравились ему гораздо больше, чем француженки и немки, – но мир, в котором они жили, был не тот мир, в котором жил он.

Ему хотелось бы, чтоб с ним была одна из них. Но дело того не стоило. Они были так привлекательны. Ему нравился этот тип. Он волновал его. Но ему не хотелось тратить время на разговоры. Не так уж была ему нужна женщина. Дело того не стоило. Во всяком случае – не теперь, когда жизнь только начинала налаживаться.

Он сидел на ступеньках, читая книгу. Это была история войны, и он читал обо всех боях, в которых ему пришлось участвовать. До сих пор ему не попадалось книги интереснее этой. Он жалел, что в ней мало карт, и предвкушал то удовольствие, с каким прочтет все действительно хорошие книги о войне, когда они будут изданы с хорошими, подробными картами. Только теперь он узнавал о войне по-настоящему. Оказывается, он был хорошим солдатом. Это совсем другое дело.

Однажды утром, после того как он пробыл дома около месяца, мать вошла к нему в спальню и присела на кровать. Разгладив складки на переднике, она сказала:

– Вчера вечером я говорила с отцом, Гарольд. Он разрешил тебе брать машину по вечерам.

– Да? – сказал Кребс, еще не совсем проснувшись. – Брать машину?

– Отец давно предлагает, чтоб ты брал машину по вечерам, когда захочешь, но мы только вчера об этом уговорились.

– Верно, это ты его заставила, – сказал Кребс.

– Нет. Отец сам об этом заговорил.

– Да? Как же! Верно, это ты его заставила.

Кребс сел в постели.

– Ты сойдешь вниз к завтраку, Гарольд? – спросила мать.

– Как только оденусь, – ответил Кребс.

Мать вышла из комнаты, и ему было слышно, как что-то жарилось внизу, пока он умывался, брился и

одевался, готовясь сойти в столовую. Пока он завтракал, сестра принесла почту.

– Здравствуй, Гарри! – сказала она. – Соня ты этакий! Ты бы уж совсем не вставал.

Кребс посмотрел на сестру. Он ее любил. Это была его любимица.

– Газета есть? – спросил он.

Она протянула ему «Канзас-Сити стар», и, разорвав коричневую бандероль, он отыскал страничку спорта. Развернув газету и прислонив ее к кувшину с водой, он придвинул к ней тарелку с кашей, чтобы можно было читать во время еды.

– Гарольд, – мать стояла в дверях кухни, – Гарольд, не изомни, пожалуйста, газету. Отец не станет читать измятую.

– Я не изомну, – сказал Кребс.

Сестра, усевшись за стол, смотрела, как он читает.

– Сегодня в школе мы играем в бейсбол, – сказала она. – Я буду подавать.

– Это хорошо, – сказал Кребс. – Ну, как там у вас в команде?

– Я подаю лучше многих мальчиков. Я им показала все, чему ты меня учил. Другие девочки играют неважно.

– Да? – сказал Кребс.

– Я всем говорю, что ты – мой поклонник. Ведь ты мой поклонник, Гарри?

– Ну, еще бы.

– Разве брат не может ухаживать за сестрой, только потому, что он брат?

– Не знаю.

– Как же ты не знаешь? Ведь ты мог бы ухаживать за мной, если бы я была взрослая?

– Ну да. Я и теперь твой поклонник.

– Правда, Гарри?

– Ну да.

– Ты меня любишь?
– Угу.
– И всегда будешь любить?
– Ну да.
– Ты пойдешь посмотреть, как я играю?
– Может быть.
– Нет, Гарри, ты меня не любишь. Если бы ты меня любил, ты захотел бы посмотреть, как я играю.

Из кухни пришла мать Кребса. Она несла тарелку с яичницей и поджаренным салом и другую тарелку с гречневыми блинчиками.

– Поди к себе, Эллен, – сказала она. – Мне нужно поговорить с Гарольдом.

Она поставила перед Гарольдом яичницу с салом и принесла кувшин с кленовой патокой к блинчикам. Потом села за стол против Кребса.

– Может быть, ты оставишь газету на минутку, Гарольд? – сказала она.

Кребс положил газету на стол и разгладил ее.

– Ты еще не решил, что будешь делать, Гарольд? – спросила мать, снимая очки.

– Нет еще, – сказал Кребс.

– Тебе не кажется, что пора об этом подумать?

Мать не хотела его уколоть. Она казалась озабоченной.

– Я еще не думал, – сказал Кребс.

– Бог всем велит работать, – сказала мать. – В царстве божием не должно быть лентяев.

– Я не в царстве божием, – ответил Кребс.

– Все мы в царстве божием.

Как всегда, Кребс чувствовал себя неловко и злился.

– Я так беспокоюсь за тебя, Гарольд, – продолжала мать. – Я знаю, каким ты подвергался искушениям. Я знаю, что мужчины слабы. Я еще не забыла, что рассказывал твой покойный дедушка, а мой отец, о

Гражданской войне, и всегда молилась за тебя. Я и сейчас целыми днями молюсь за тебя.

Кребс смотрел, как застывает свиное сало у него на тарелке.

– Отец тоже беспокоится, – продолжала она. – Ему кажется, что у тебя нет честолюбия, нет определенной цели в жизни. Чарли Симмонс тебе ровесник, а уже на хорошем месте и собирается жениться. Все молодые люди устраиваются, все хотят чего-нибудь добиться. Ты сам видишь, что такие, как Чарли Симмонс, уже вышли на дорогу, и общество может гордиться ими.

Кребс молчал.

– Не гляди так, Гарольд, – сказала мать. – Ты знаешь, мы любим тебя, и я для твоей же пользы хочу поговорить с тобой. Отец не хочет стеснять твоей свободы. Он разрешает тебе брать машину. Если тебе захочется покатать какую-нибудь девушку из хорошей семьи, мы будем только рады. Тебе следует развлечься. Но нужно же искать работу, Гарольд. Отцу все равно, за какое бы дело ты ни взялся. Всякий труд почетен, говорит он. Но с чего-нибудь надо же начинать. Он просил меня поговорить с тобой сегодня. Может быть, ты зашел бы к нему в контору?

– Это все? – спросил Кребс.

– Да. Разве ты не любишь свою мать, милый мой мальчик?

– Да, не люблю, – сказал Кребс.

Мать смотрела на него через стол. Ее глаза блестели. На них навернулись слезы.

– Я никого не люблю, – сказал Кребс.

Безнадежное дело. Он не мог растолковать ей, не мог заставить ее понять. Глупо было говорить так. Он только огорчил мать. Он подошел к ней и взял ее за руку. Она плакала, закрыв лицо руками.

– Я не то хотел сказать. Я просто был раздражен, – сказал Кребс. – Я не хотел сказать, что я не люблю

тебя...

Мать все плакала. Кребс обнял ее за плечи.

– Ты не веришь мне, мама?

Мать покачала головой.

– Ну, прошу тебя, мама. Прощу тебя, поверь мне.

– Хорошо, – сказала мать, всхлипывая, и взглянула на него. – Я верю тебе, Гарольд.

Кребс поцеловал ее в голову. Она прижалась к нему лицом.

– Я тебе мать, – сказала она. – Я носила тебя на руках, когда ты был совсем крошкой.

Кребс почувствовал тошноту и смутное отвращение.

– Я знаю, мамочка, – сказал он. – Я постараюсь быть тебе хорошим сыном.

– Может быть, ты станешь на колени и помолишься вместе со мной, Гарольд? – спросила мать.

Они стали на колени перед обеденным столом, и мать Кребса прочла молитву.

– А теперь помолись ты, Гарольд, – сказала она.

– Не могу, – ответил Кребс.

– Постарайся, Гарольд.

– Не могу.

– Хочешь, я помолюсь за тебя?

– Хорошо.

Мать помолилась за него, а потом они встали, и Кребс поцеловал мать и ушел из дому. Он так старался не осложнять свою жизнь. Однако все это несколько его не тронуло. Ему стало жаль мать, и поэтому он солгал. Он поедет в Канзас-Сити, найдет себе работу, и тогда она успокоится. Перед отъездом придется, может быть, выдержать еще одну сцену. К отцу в контору он не пойдет. Избавится хоть от этого. Ему хочется, чтобы жизнь шла спокойно. Без этого просто нельзя. Во всяком случае, теперь с этим покончено. Он пойдет на школьный двор смотреть, как Эллен играет в бейсбол.

В два часа утра двое венгров забрались в табачную лавку на углу Пятнадцатой улицы и Гранд-авеню. Древитс и Бойл приехали туда в «форде» из полицейского участка на Пятнадцатой улице. Грузовик венгров как раз выезжал задним ходом из тупичка. Бойл застрелил сначала сидевшего в кабине, потом – того, который был в грузовике. Древитс испугался, когда увидел, что они убиты наповал.

– Стой, Джимми, – сказал он. – Что же ты наделал! Знаешь, какой теперь тарарам поднимется!

– Ворье они или не ворье? – сказал Бойл. – Италияшки они или не италияшки? Кто будет поднимать из-за них тарарам?

– Ну, может, на этот раз сойдет, – сказал Древитс, – но, почему ты знал, что они италияшки, когда стрелял в них?

– В италияшек-то? – сказал Бойл. – Да я италияшек за квартал вижу.

Революционер

В 1919 году он разъезжал по железным дорогам Италии с квадратным кусочком клеенки, выданным партийной организацией, на котором было написано химическим карандашом, что предъявитель сего сильно потерпел при белых в Будапеште и что товарищей просят оказывать ему всяческое содействие. Этот кусочек клеенки служил ему вместо железнодорожного билета. Он был очень застенчивый и совсем еще юный, и проводники передавали его от одной бригады к другой. Денег у него не было, и его кормили в станционных буфетах позади стойки.

Италия ему очень понравилась. Какая прекрасная страна, говорил он. Люди здесь такие приветливые. Он побывал во многих городах, много ходил по улицам, посещал картинные галереи. Он покупал репродукции с картин Джотто, Мазаччо и Пьеро делла Франческа и заворачивал их в старый номер «Аванти». Мантенья ему не понравился.

В Болонье он явился в местную организацию, и я взял его с собой в Романью, где мне надо было встретиться с одним человеком. Мы хорошо провели время в дороге. Стояли первые дни сентября, и все вокруг радовало глаз. Он был мадьяр – очень милый, очень застенчивый юноша. Хортисты обошлись с ним жестоко. Кое о чем он порассказал мне. Несмотря на то, что произошло в Венгрии, он безоговорочно верил в мировую революцию.

– А как развивается движение у вас, в Италии? – спросил он.

– Из рук вон плохо, – ответил я.

– Дальше дела пойдут лучше, – сказал он. – У вас для этого есть все условия. Италия – единственная

страна, в которой никто не сомневается. С нее дальше все и пойдет.

Я промолчал.

В Болонье он простился с нами перед отъездом в Милан, из Милана поехал в Аосту, а оттуда должен был идти пешком через перевал в Швейцарию. Я заговорил с ним о картинах Мантеньи в Милане. Нет, застенчиво сказал он, Мантенья ему не нравится. Я написал на клочке бумаги, где его покормят в Милане, и дал адреса товарищей. Он горячо благодарил меня, но чувствовалось, что мысли его уже далеко – на перевале. Ему хотелось совершить переход, пока погода не испортилась. Он любил горы осенью. В Сионе швейцарцы посадили его в тюрьму, и это было последнее, что я о нем слышал.

Первому матадору бык проткнул правую руку, и толпа гиканьем прогнала его с арены. Второй матадор поскользнулся, и бык пропорол ему живот, и он схватился одной рукой за рог, а другой зажимал рану, и бык грохнул его о барьер, и он выпустил рог и упал, а потом поднялся, шатаясь, как пьяный, и вырывался от людей, уносивших его, и кричал, чтобы ему дали шпагу, но потерял сознание. Вышел третий, совсем еще мальчик, и ему пришлось убивать пять быков, потому что больше трех матадоров не полагается, и перед последним быком он уже так устал, что никак не мог направить шпагу. Он едва двигал рукой. Он нацеливался пять раз, и толпа молчала, потому что бык был хороший и она ждала, кто кого, и наконец нанес удар. Потом он сел на песок, и его стошнило, и его прикрыли плащом, а толпа ревела и швыряла на арену все, что попадалось под руку.

Мистер и миссис Эллиотт

Мистер и миссис Эллиот очень старались иметь ребенка. Они поженились в Бостоне и пароходом отбыли в Европу. Пароход был очень дорогой, и рейс в Европу должен был занять шесть суток. Но на пароходе миссис Эллиот совсем разболелась. Ее мучило от качки, а когда ее мучило, то мучило так, как мутит всех южанок, то есть уроженок южной части Соединенных Штатов. Как все южанки, миссис Эллиот очень быстро расклеивалась от морской болезни, оттого, что приходилось путешествовать ночью и слишком рано вставать по утрам. Многие пассажиры на пароходе были уверены, что она мать Эллиота. Другие, зная, что это муж и жена, думали, что она беременна. На самом деле ей просто было сорок лет. Ее возраст сразу дал себя знать, когда она начала путешествовать.

Она казалась много моложе, вернее – казалась женщиной без возраста, когда Эллиот женился на ней после того как несколько недель за ней ухаживал после того как долгое время ходил в ее кафе до того как однажды вечером поцеловал ее.

Перед женитьбой Хьюберт Эллиот прошел курс юридических наук в Гарвардском университете и был оставлен при кафедре. Он был поэтом и имел около десяти тысяч долларов годового дохода. Он писал очень длинные стихотворения и очень быстро. Ему было двадцать пять лет, и он ни разу не спал с женщиной до того, как женился на миссис Эллиот. Он хотел остаться чистым, чтобы принести своей жене ту же душевную и телесную чистоту, какую ожидал найти в ней. Про себя он называл это – вести нравственную жизнь. Он несколько раз был влюблен до того, как поцеловал миссис Эллиот, и рано или поздно сообщал каждой

девушке, что до сих пор хранит целомудрие. После этого почти все они переставали им интересоваться. Его поражало и прямо-таки приводило в ужас, как это девушки решались на помолвку и даже на брак с мужчинами, зная, какому разврату они предавались до женитьбы. Однажды он попробовал отговорить знакомую девушку от брака с человеком, который, как он знал почти наверняка, вел распутный образ жизни в студенческие годы, и это привело к очень неприятному инциденту.

Миссис Эллиот звали Корнелия. Она захотела, чтобы он называл ее Калютина, как ее прозвали на Юге, в семье. Его мать расплакалась, когда он после свадьбы привез Корнелию к ней в гости, но, узнав, что они будут жить за границей, сразу повеселела.

Когда он сообщил Корнелии, что оставался невинным в ожидании ее, она сказала: «Мой милый, дорогой мальчик», – и обняла его крепче обычного. Корнелия тоже была невинна. «Поцелуй меня так еще раз», – сказала она.

Хьюберт объяснил ей, что об этом способе целоваться ему рассказал один приятель. Он был в восторге от своего открытия, и они совершенствовали его, насколько было возможно. Иногда, после того как они долго целовались, Корнелия просила его еще раз повторить ей, что он действительно оставался невинным в ожидании ее. Это признание неизменно придавало ей сил.

Сначала Хьюберту и в голову не приходило жениться на Корнелии. Он никогда не думал о ней как о женщине. Они были просто друзьями; а потом как-то вечером они танцевали под граммофон в маленькой комнате позади кафе, пока за кассой сидела ее подруга, и она посмотрела ему в глаза, и он поцеловал ее. Он так и не мог потом припомнить, когда именно было решено, что они поженятся. Но они поженились.

Ночь после свадьбы они провели в Бостоне, в отеле. Оба ожидали большего, но в конце концов Корнелия уснула. Хьюберт не мог уснуть и несколько раз вставал и ходил взад и вперед по коридору отеля в новом егеровском халате, который он купил для свадебного путешествия. Он смотрел на бесконечные пары ботинок – маленьких туфель и больших штиблет, – выставленных за двери номеров. От этого сердце у него забилося, и он поспешил к себе в номер, но Корнелия спала. Ему не захотелось будить ее, и скоро все снова пришло в порядок и он мирно заснул.

На следующий день они были с визитом у его матери, а еще через день отплыли в Европу. Теперь они имели возможность подумать о ребенке, но Корнелия не особенно часто была расположена к этому, хотя они желали ребенка больше всего на свете.

Дни на пароходе тянулись очень долго и все были один как другой, разве что иногда светило солнце, а ветер дул не переставая, и, хотя пароход был очень дорогой, с лифтами и бассейном, и все пассажиры говорили с английским акцентом, до Европы они доплыли только через восемь суток. Они высадились в Шербуре и приехали в Париж.

В Париже было неинтересно и все время шел дождь. Им все больше хотелось иметь ребенка, и хотя кто-то показал им в кафе Эзру Паунда, и в Трианоне они видели, как обедает Джеймс Джойс, и их чуть не познакомили с человеком по имени Лео Стайн, пообещав потом объяснить, кто он такой, – они решили поехать в Дижон, где открылся летний университет и куда поехали многие из тех, кто был с ними на пароходе.

В Дижоне, как выяснилось, нечего было делать. Впрочем, Хьюберт писал очень много стихов, а Корнелия печатала их на машинке. Все стихи были очень длинные. Он очень строго относился к опечаткам

и заставлял ее переписывать заново целую страницу, если на ней была хоть одна опечатка. Она часто плакала, и до отъезда из Дижона они несколько раз старались иметь ребенка.

Они вернулись в Париж, и многие из их знакомых по пароходу тоже вернулись туда. Дижон им надоел, к тому же они теперь получили возможность рассказывать, что, окончив курс в Гарвардском, или в Колумбийском, или в Уобашском университете, они слушали лекции в Дижоне, департамент Кот-д'Ор. Многие из них предпочли бы поехать в Лангедок, Монпелье или Перпиньян, если только там есть университеты. Но все это слишком далеко. Дижон всего в четырех с половиной часах езды от Парижа, и в поезде есть вагон-ресторан.

Так и случилось, что все они несколько дней ходили в кафе «Купол», избегая показываться в «Ротонде» напротив, потому что там всегда полно иностранцев, а потом Эллиоты, по объявлению в «Нью-Йорк геральд», сняли chateau^[4] в Турени. Эллиот успел приобрести много друзей, восхищавшихся его стихами, а миссис Эллиот уговорила его выписать из Бостона ее подругу, которая работала с нею в кафе. С приездом подруги миссис Эллиот заметно повеселела, и они не раз всплакнули вдвоем. Подруга была на несколько лет старше Корнелии и называла ее «крошка». Она тоже была южанка, родом из очень старинной семьи.

Они трое и еще несколько друзей Эллиота, называвших его Хьюби, поехали вместе в туреньский chateau. Турень оказалась плоской, жаркой равниной, очень напоминавшей Канзас. У Эллиота к этому времени набралось стихов почти на целый томик. Он решил выпустить его в Бостоне и уже послал издателю чек и заключил с ним договор.

Скоро друзья один за другим потянулись в Париж. Турень не оправдала надежд, которые на нее возлагали. Через некоторое время все друзья уехали на приморский курорт близ Трувиля с одним молодым американским поэтом, богатым и холостым. Там все они были очень счастливы.

Эллиот остался в туреньском chateau, потому что он снял его на все лето. Они с миссис Эллиот спали в большой жаркой спальне на большой жесткой кровати. Им все еще очень хотелось иметь ребенка. Миссис Эллиот училась писать на машинке по слепой системе, и оказалось, что хотя писать так быстрее, но опечаток получается больше. Почти все рукописи теперь переписывала подруга. Она работала очень аккуратно и быстро, и это занятие, видимо, доставляло ей удовольствие. Эллиот стал пить много белого вина и перебрался в отдельную спальню. По ночам он писал стихи, и утром вид у него бывал утомленный. Миссис Эллиот и ее подруга теперь спали вместе на большой средневековой кровати. Они всласть поплакали вдвоем. Вечером они все вместе обедали в саду под платаном; дул горячий вечерний ветер, Эллиот пил белое вино, миссис Эллиот и подруга разговаривали, и все они были вполне счастливы.

Белого коня хлестали по ногам, пока он не поднялся на колени. Пикадор расправил стремяна, подтянул подпругу и вскочил в седло. Внутренности коня висели голубым клубком и болтались взад и вперед, когда он пустился галопом, подгоняемый моно^[5], которые хлестали его сзади прутьями по ногам. Судорожным галопом он проскакал вдоль барьера. Потом сразу остановился, и один из моно взял его под уздцы и повел вперед. Пикадор вонзил шпоры, пригнулся и погрозил быку пикой. Кровь била струей из раны между передними ногами коня. Он дрожал и шатался. Бык никак не мог решить, стоит ли ему нападать.

Кошка под дождем

В отеле было только двое американцев. Они не знали никого из тех, с кем встречались на лестнице, поднимаясь в свою комнату. Их комната была на втором этаже, из окон было видно море. Из окон были видны также общественный сад и памятник жертвам войны. В саду были высокие пальмы и зеленые скамейки. В хорошую погоду там всегда сидел какой-нибудь художник с мольбертом. Художникам нравились пальмы и яркие фасады гостиниц с окнами на море и сад. Итальянцы приезжали издалека, чтобы посмотреть на памятник жертвам войны. Он был бронзовый и блестел под дождем. Шел дождь. Капли дождя падали с пальмовых листьев. На посыпанных гравием дорожках стояли лужи. Волны под дождем длинной полосой разбивались о берег, откатывались назад и снова набегали и разбивались под дождем длинной полосой. На площади у памятника не осталось ни одного автомобиля. Напротив, в дверях кафе, стоял официант и глядел на опустевшую площадь.

Американка стояла у окна и смотрела в сад. Под самыми окнами их комнаты, под зеленым столом, с которого капала вода, спряталась кошка. Она старалась сжаться в комок, чтобы на нее не попадали капли.

– Я пойду вниз и принесу киску, – сказала американка.

– Давай я пойду, – отозвался с кровати ее муж.

– Нет, я сама. Бедная киска! Прячется от дождя под столом.

Муж продолжал читать, полулежа на кровати, подложив под голову обе подушки.

– Смотри не промокни, – сказал он.

Американка спустилась по лестнице, и, когда она проходила через вестибюль, хозяин отеля встал и поклонился ей. Его конторка стояла в дальнем углу вестибюля. Хозяин отеля был высокий старик.

- Il piove^[6], - сказала американка. Ей нравился хозяин отеля.

- Si, si, signora, brutto tempo^[7]. Сегодня очень плохая погода.

Он стоял у конторки в дальнем углу полутемной комнаты. Он нравился американке. Ей нравилась необычайная серьезность, с которой он выслушивал все жалобы. Ей нравился его почтенный вид. Ей нравилось, как он старался услужить ей. Ей нравилось, как он относился к своему положению хозяина отеля. Ей нравилось его старое массивное лицо и большие руки.

Думая о том, что он ей нравится, она открыла дверь и выглянула наружу. Дождь лил еще сильнее. По пустой площади, направляясь к кафе, шел мужчина в резиновом пальто. Кошка должна быть где-то тут, направо. Может быть, удастся пройти под карнизом. Когда она стояла на пороге, над ней вдруг раскрылся зонтик. За спиной стояла служанка, которая всегда убирала их комнату.

- Чтобы вы не промокли, - улыбаясь, сказала она по-итальянски. Конечно, это хозяин послал ее.

Вместе со служанкой, которая держала над ней зонтик, она пошла по дорожке под окно своей комнаты. Стол был тут, ярко-зеленый, вымытый дождем, но кошки не было. Американка вдруг почувствовала разочарование. Служанка взглянула на нее.

- Ha perduta qualche cosa, signora?^[8]

- Здесь была кошка, - сказала молодая американка.

- Кошка?

- Si, il gatto^[9].

- Кошка? - служанка засмеялась. - Кошка под дождем?

- Да, - сказала она, - здесь, под столиком. - И потом:
- А мне так хотелось ее, так хотелось киску...

Когда она говорила по-английски, лицо служанки становилось напряженным.

- Пойдемте, синьора, - сказала она, - лучше вернемся. Вы промокнете.

- Ну что же, пойдем, - сказала американка.

Они пошли обратно по усыпанной гравием дорожке и вошли в дом. Служанка остановилась у входа, чтобы закрыть зонтик. Когда американка проходила через вестибюль, padrone^[10] поклонился ей из-за своей конторки. Что-то в ней судорожно сжалось в комок. В присутствии padrone она чувствовала себя очень маленькой и в то же время значительной. На минуту она почувствовала себя необычайно значительной. Она поднялась по лестнице. Открыла дверь в комнату. Джордж лежал на кровати и читал.

- Ну, принесла кошку? - спросил он, опуская книгу.

- Ее уже нет.

- Куда же она девалась? - сказал он, на секунду отрываясь от книги.

Она села на край кровати.

- Мне так хотелось ее, - сказала она. - Не знаю почему, но мне так хотелось эту бедную киску. Плохо такой бедной киске под дождем.

Джордж уже снова читал.

Она подошла к туалетному столу, села перед зеркалом и, взяв ручное зеркальце, стала себя разглядывать. Она внимательно рассматривала свой профиль сначала с одной стороны, потом с другой. Потом стала рассматривать затылок и шею.

- Как ты думаешь, не отпустить ли мне волосы? - спросила она, снова глядя на свой профиль.

Джордж поднял глаза и увидел ее затылок с коротко стриженными, как у мальчика, волосами.

– Мне нравится так, как сейчас.

– Мне надоело, – сказала она. – Мне так надоело быть похожей на мальчика.

Джордж переменил позу. С тех пор как она заговорила, он не сводил с нее глаз.

– Ты сегодня очень хорошенькая, – сказал он.

Она положила зеркало на стол, подошла к окну и стала смотреть в сад. Становилось темно.

– Хочу крепко стянуть волосы, и чтобы они были гладкие, и чтобы был большой узел на затылке, и чтобы можно было его потрогать, – сказала она. – Хочу кошку, чтобы она сидела у меня на коленях и мурлыкала, когда я ее глажу.

– Мм, – сказал Джордж с кровати.

– И хочу есть за своим столом, и чтоб были свои ножи и вилки, и хочу, чтоб горели свечи. И хочу, чтоб была весна, и хочу расчесывать волосы перед зеркалом, и хочу кошку, и хочу новое платье...

– Замолчи. Возьми почитай книжку, – сказал Джордж. Он уже снова читал.

Американка смотрела в окно. Уже совсем стемнело, и в пальмах шумел дождь.

– А все-таки я хочу кошку, – сказала она. – Хочу кошку сейчас же. Если уж нельзя длинные волосы и чтобы было весело, так хоть кошку-то можно?

Джордж не слушал. Он читал книгу. Она смотрела в окно, на площадь, где зажигались огни.

В дверь постучали.

– *Avanti*^[11], – сказал Джордж. Он поднял глаза от книги.

В дверях стояла служанка. Она крепко прижимала к себе большую пятнистую кошку, которая тяжело свешивалась у нее на руках.

- Простите, - сказала она. - Padrone посылает это синьоре.

Толпа кричала не переставая и со свистом и гиканьем бросала на арену корки хлеба, фляги, подушки. В конце концов бык устал от стольких неточных ударов, согнул колени и лег на песок, и один из куадрильи^[12] наклонился над ним и убил его ударом пунтильо^[13]. Толпа бросилась через барьер и окружила матадора, и два человека схватили его и держали, и кто-то отрезал ему косичку и размахивал ею, а потом один из мальчишек схватил ее и убежал. Вечером я видел матадора в кафе. Он был маленького роста, с темным лицом, и он был совершенно пьян. Он говорил: «В конце концов, со всяким может случиться. Ведь я не какая-нибудь знаменитость».

Не в сезон

На четыре лиры, которые Педуцци заработал, копая землю в саду отеля, он напился. Он увидел американца проходившего по аллее, и с таинственным видом заговорил с ним. Американец ответил, что он еще не завтракал, но охотно пойдет с ним, как только завтрак кончится. Минут через сорок, через час.

В кантине^[14] у моста Педуцци дали в долг еще три стакана граппы^[15]: ведь он так уверенно и так многозначительно говорил о своем предстоящем заработке. Было ветрено, и солнце показывалось из-за туч, а потом опять пряталось, и накрапывал дождь. Чудесный день для ловли форели.

Американец вышел из отеля и спросил Педуцци, как быть с удочками. Надо ли, чтобы жена с удочками шла отдельно?

- Да, - ответил Педуцци, - пусть синьора идет отдельно.

Американец вернулся в отель и поговорил с женой. Он и Педуцци вышли на дорогу. У американца через плечо висела сумка. Педуцци увидел американку в альпийских ботинках и синем берете. На вид она была так же молода, как и муж. Она пошла за ними, неся в руках разобранные удочки. Педуцци не нравилось, что она идет так далеко позади.

- Синьорина, подойдите к нам, - сказал он, подмигивая молодому человеку, - пойдемте все вместе. Синьора, подойдите сюда. Давайте пойдем вместе.

Педуцци хотелось, чтобы они все вместе прошли по улицам Кортино.

Американка шла позади с недовольным видом.

- Синьорина, - нежно позвал ее Педуцци, - подите сюда, к нам.

Муж оглянулся и что-то крикнул ей. Она прибавила шаг и поравнялась с ними.

Со всеми прохожими, попадавшимися им на главной улице городка, Педуцци усердно раскланивался, снимая шляпу.

– Buon'di, Arturo!^[16]

Банковский служащий уставился на него из дверей кафе. Кучка людей, стоявших около магазинов, глазела на троих проходивших. Рабочие с постройки нового отеля в блузах, измазанных известкой, разглядывали их. Никто не заговаривал с ними и не кланялся, кроме нищего, худого старика с заплеванной бородой, который приподнял шляпу, когда они поравнялись с ним.

Педуцци остановился около магазина, где в окне стояло много бутылок, и достал из бокового кармана своей старой военной шинели пустую бутылку из-под граппы.

– Чутьочку винца, немного марсалы для синьоры, самую малость винца.

Он размахивал бутылкой. Вот выдался денек!

– Марсала. Вы любите марсалу, синьорина? Немного марсалы.

У американки был недовольный вид.

– Очень нужно было тебе с ним связываться, – сказала она мужу. – Я не понимаю ни одного слова. Он же пьян.

Молодой человек делал вид, что не слышит Педуцци, а в то же время думал: какого черта далась ему эта марсала? Это ведь любимое вино Манси Бирболи.

– Geld^[17], – произнес в конце концов Педуцци, хватая американца за рукав.

Он улыбнулся, не смея быть настойчивым, но желая заставить американца действовать.

Молодой человек вынул бумажник из кармана и протянул ему десять лир. Педуцци поднялся по ступенькам в лавку, где на вывеске было написано: «Продажа местных и заграничных вин». Лавка была заперта.

– Закрыта до двух часов, – неодобрительно сказал какой-то прохожий.

Педуцци спустился по ступенькам.

– Не беда, – сказал он. – Достанем в «Конкордии».

Они все рядом пошли по дороге, направляясь к «Конкордии». На крыльце «Конкордии», где были свалены заржавленные санки-бобслей, молодой человек спросил у него:

– Was wollen sie?^[18]

Педуцци протянул ему бумажку в десять лир, сложенную в несколько раз.

– Ничего, – сказал он. – Так, что-нибудь.

Он растерялся.

– Может, марсалу. Я не знаю. Марсалы бы...

Дверь «Конкордии» захлопнулась за американцем и его женой.

– Три рюмочки марсалы, – сказал американец продавщице, стоявшей за стойкой.

– Две, хотите вы сказать? – спросила девушка.

– Нет, – ответил американец, – три: одну для vecchio^[19].

– О, – сказала она, – для vecchio? – и засмеялась, доставая бутылку. Потом налила мутную жидкость в три рюмки.

Американка сидела у стены, на которой висели газеты. Муж поставил перед ней рюмку.

– Выпей немножко. Может быть, тебе будет лучше.

Она молча смотрела на рюмку. Американец вышел из комнаты с рюмкой для Педуцци, но не нашел его.

- Не знаю, где он, - сказал он, входя обратно в комнату и держа рюмку в руке.

- Ему бы четверть, - сказала жена.

- А сколько стоит четверть литра? - спросил американец продавщицу.

- Белого? Лира.

- Нет, марсалы. И это туда же, - сказал он, протягивая ей рюмку, которая предназначалась для Педуцци, и свою.

Девушка стала лить вино через воронку.

- А теперь нужно бутылку, чтобы захватить вино с собой, - сказал американец.

Продавщица пошла искать бутылку. Все это ее очень забавляло.

- Мне очень жаль, что у тебя испортилось настроение, Тайни, - сказал американец. - Очень жалею, что поднял этот разговор за завтраком. В сущности, мы говорили об одном и том же, но с разных точек зрения.

- Какая разница? - сказала она. - В конце концов, мне безразлично.

- Тебе не холодно? - спросил он. - Почему ты не надела второй свитер?

- На мне уже и так три.

В комнату вошла продавщица с узкой темной бутылкой в руках и вылила туда марсалу. Американец заплатил еще пять лир. Они вышли. Продавщицу все это забавляло. Педуцци прохаживался взад и вперед в конце улицы, где было не так ветрено, держа в руках удочки.

- Пойдем, - сказал он. - Я понесу удочки. Что за беда, если кто-нибудь нас увидит? Нас никто не тронет. В Кортино меня никто не тронет. Я всех знаю в *município*^[20]. Я бывший солдат. Все в городе любят меня. Я торгую лягушками. Ну что же, что запрещено

удить рыбу? Наплевать! Сушная ерунда, Не волнуйтесь. Крупная форель, говорю я вам, и сколько угодно.

Они спустились с холма к реке. Город остался позади. Солнце спряталось, и накрапывал дождь.

– Вот там, – сказал Педуцци, показывая на девушку, стоявшую на пороге дома, мимо которого они проходили, – meine Tochter^[21].

– Какой доктор? – сказала американка. – Разве он хочет показать нам своего доктора?

– Он говорит Tochter, – сказал американец.

Девушка, на которую показывал Педуцци, вошла в дом.

Они спустились с холма через поле, потом повернули и пошли вдоль берега реки. Педуцци говорил быстро, многозначительно подмигивая. Они шли рядом, и американка чувствовала, как от Педуцци пахнет вином. Один раз он даже толкнул ее локтем. Он говорил то на диалекте Ампеццо, то на немецко-тирольском диалекте. Он никак не мог сообразить, какой же язык его спутники лучше понимают, и поэтому говорил на обоих. Но когда американец произнес «ja, ja»^[22], Педуцци решил окончательно перейти на тирольский. Молодые люди ничего не понимали.

– Когда мы проходили по городу, все нас видели. За нами, наверное, следит речная охрана. Очень жалею, что мы в это дело впутались. Да еще этот старый дурак вдребезги пьян.

– А у тебя, конечно, не хватает духу вернуться назад, – сказала американка. – Тебе непременно нужно идти с ним дальше.

– А ты бы вернулась? Возвращайся домой, Тайни.

– Я останусь с тобой. Уж если садиться в тюрьму, так, по крайней мере, вместе.

Они круто повернули к воде, и Педуцци остановился, отчаянно жестикулируя и указывая на

реку. Шинель его развевалась по ветру. Вода была грязная и мутная. Направо на берегу лежала кучка мусора.

– Да говорите по-итальянски, – сказал американец.

– Un'mezz'ora. Piu d'un'mezz'ora^[23].

– Он говорит, что нам еще, по крайней мере, полчаса ходу. Возвращайся лучше домой, Тайни. Ты и так уже озябла на этом ветру. Погода мерзкая, и все равно ничего интересного не предвидится.

– Хорошо, – ответила американка и стала взбираться на поросший травой берег.

Педуцци был внизу, у реки, и заметил, что американка ушла, только когда она была уже на гребне холма.

– Фрау! – закричал он. – Фрейлен! Фрау, что же вы уходите?

Американка скрылась за холмом.

– Ушла, – сказал Педуцци. Он был возмущен.

Он снял резинку, которой были связаны удочки, и начал собирать их.

– Но ведь вы же сказали, что еще полчаса ходу.

– Да, да. Там очень хорошо. Но здесь тоже хорошо.

– Правда?

– Ну конечно. И здесь хорошо, и там хорошо.

Американец сел на берегу, собрал удочку, приладил катушку и протянул леску через кольцо. Ему было не по себе, и он боялся, что каждую минуту может нагрянуть речная охрана или на берегу появится толпа местных жителей. Он видел городские дома и кампаниллу над гребнем холма. Он открыл свой ящик с поводками. Педуцци наклонился и засунул туда свой плоский заскорузлый большой палец и указательный и смешал влажные поводки.

– А грузило есть у вас?

– Нет.

- У вас должно быть грузило. - Педуцци был взволнован. Нельзя без ріомбо^[24]. Ріомбо. Немного ріомбо. Вот тут. Как раз над крючком, а то наживка будет плавать по воде. Обязательно надо ріомбо. Хоть маленький кусочек.

- А у вас есть?

- Нет.

Он стал лихорадочно шарить в карманах, роясь в грязной подкладке своей шинели.

- Ничего нет. Нельзя без ріомбо.

- Ну, так, значит, удить нельзя, - сказал американец и разобрал удочку, наматывая обратно леску через кольцо. - Мы достанем ріомбо и будем удить завтра.

- Ну, послушайте, саро^[25], у вас должно быть ріомбо. Иначе леска будет плавать по воде.

На глазах Педуцци рушились все надежды.

- Ріомбо должно быть у вас. Нам хватит кусочка. Удочки у вас совсем новенькие, а вот грузила нет. Я бы принес. А вы сказали, что все у вас есть.

Американец смотрел на реку, мутную от тающего снега.

- Ну что же, - сказал он, - мы раздобудем немного ріомбо и будем удить завтра.

- Утром? В котором часу?

- В семь.

Выглянуло солнце. Стало тепло и приятно. Американец почувствовал облегчение. Он уже больше не нарушает закона. Усевшись на берегу, он достал из кармана бутылку с марсалай и передал ее Педуцци. Педуцци передал ее обратно. Американец сделал глоток и передал бутылку обратно.

- Пейте, - сказал он, - пейте. Это ваша марсала.

Сделав еще маленький глоток, американец снова протянул бутылку Педуцци. Тот внимательно посмотрел на нее, потом торопливо схватил и залпом выпил. Седые

волосы в складках его шеи шевелились, когда он пил, глаза не отрываясь смотрели на узкую темную бутылку. Он выпил ее до дна. Пока он пил, светило солнце. Было чудесно. Все-таки это был удачный день! Чудесный день!

- Senta, caro!^[26] Завтра утром, в семь.

Он несколько раз назвал американца «саго», и это ему сошло. Хорошая была марсала! Таких дней еще много будет впереди, и начнется это завтра, в семь часов утра.

Они стали подниматься на холм по направлению к городу. Американец шел впереди. Он был почти на гребне холма, когда Педуцци окликнул его:

- Послушайте, саго. Не дадите ли вы мне пять лир?

- За сегодня? - хмурясь, спросил американец.

- Нет, не за сегодня. Дайте мне их сегодня за завтрашний день. Я запасу все, что нужно на завтра. Pane, salami, formaggio^[27], хорошей закуска для всех нас. Вы, я и синьора. Наживку, пескарей, не одних червяков. И марсала будет. Все за пять лир. Пять лир, а, синьор?

Американец порылся в бумажнике и достал бумажку в две лиры и две по одной.

- Благодарю вас, саго. Благодарю вас, - сказал Педуцци таким тоном, каким говорят члены «Карлтон-клуба», принимая «Морнинг пост» из рук соседа.

Вот это была жизнь! Хватит с него ковырять вилами мерзлый навоз в саду отеля. Жизнь раскрывалась перед ним.

- Так, значит, завтра в семь, саго, - сказал Педуцци, похлопывая американца по плечу. - Ровно в семь.

- Я скорее всего не пойду, - сказал американец и положил бумажник обратно в карман.

- Как? - спросил Педуцци. - Я принесу пескарей, синьор. Salami, все достану. Вы, я и синьора. Все трое.

– Я скорее всего не пойду, – повторил американец. – По всей вероятности – нет. Узнаете у padrone в конторе отеля.

Если это происходило близко от барьера и против вашего места на трибуне, то хорошо было видно, как Виляльта дразнит быка и вызывает его, и когда бык кидался, Виляльта, не трогаясь с места, отклонялся назад, точно дуб под ударом ветра, плотно сдвинув ноги, низко опустив мулету и отводя шпагу за спину. Потом он кричал на быка, хлопал перед ним мулетой и снова, когда бык кидался, не трогаясь с места, поднимал мулету и, отклонившись назад, описывал мулетой дугу, и каждый раз толпа ревела от восторга.

Когда наступало время для последнего удара, все происходило в одно мгновение. Разъяренный бык, стоя прямо против Виляльты, не спускал с него глаз. Виляльта одним движением выхватывал шпагу из складок мулеты и, направив ее, кричал быку: «Торо! Торо!» – и бык кидался, и Виляльта кидался, и на один миг они сливались воедино. Виляльта сливался с быком, и все было кончено. Виляльта опять стоял прямо, и красная рукоятка шпаги торчала между лопатками быка. Виляльта поднимал руку, приветствуя толпу, а бык не спускал с него глаз, ревел, захлебываясь кровью, и ноги его подгибались.

Кросс по снегу

Фуникулер еще раз дернулся и остановился. Он не мог идти дальше, путь был сплошь занесен снегом. Ветер начисто подмел открытый склон горы, и поверхность снега смерзлась в оледенелый наст. Ник в багажном вагоне натер свои лыжи, сунул носки башмаков в металлические скобы и застегнул крепление. Он боком прыгнул из вагона на твердый наст, выровнял лыжи и, согнувшись и волоча палки, понесся вниз по скату.

Впереди на белом просторе мелькал Джордж, то исчезая, то появляясь и снова исчезая из виду. Когда, внезапно попав на крутой изгиб склона, Ник стремительно полетел вниз, в его сознании не осталось ничего, кроме чудесного ощущения быстроты и полета. Он въехал на небольшой бугор, а потом снег начал убегать из-под его лыж, и он понесся вниз, быстрее, быстрее, по последнему крутому спуску. Согнувшись, почти сидя на лыжах, стараясь, чтобы центр тяжести пришелся как можно ниже, он мчался в туче снега, словно в песчаном вихре, и чувствовал, что скорость слишком велика. Но он не замедлил хода. Он не сдаст и удержится. Потом он попал на рыхлый снег, оставленный ветром в выемке горы, не удержался и, гремя лыжами, полетел кубарем, точно подстреленный кролик, потом зарылся в сугроб, ноги накрест, лыжи торчком, набрав полные уши и ноздри снега.

Джордж стоял немного ниже, ладонями сбивая снег со своей куртки.

– Высокий класс, Ник! – крикнул он. – Это чертова выемка виновата. Она и меня подвела.

– А как там, дальше? – Ник, лежа на спине, выровнял лыжи и встал.

- Нужно все время забирать влево. Спуск хороший, крутой. Внизу сделаешь христианию – там изгородь.
- Подожди минутку, съедем вместе.
- Нет, ты ступай вперед. Я люблю смотреть, как ты съезжаешь.

Ник Адамс проехал мимо Джорджа – на его широких плечах и светлых волосах осталось немного снега, – потом лыжи Ника заскользили, и он ухнул вниз, окутанный свистящей снежной пылью, взлетая и падая, вверх, вниз по волнистому склону. Он все время забирал влево, и к концу, когда он летел прямо на изгородь, плотно сжав колени и изогнув туловище, он, в туче снега, сделал крутой поворот вправо и, сбавляя ход, проехал между склоном горы и проволоочной изгородью.

Он взглянул вверх. Джордж съезжал, готовясь к повороту телемарк, выдвинув вперед согнутую в колене ногу и волоча другую; палки висели, словно тонкие ножки насекомого, и, задевая снег, взбивали комочки снежного пуха; и, наконец, почти скрытый тучами снега, скорчившись, выбросив одну ногу вперед, вытянув другую назад, отклонив туловище влево, он описал четкую красивую кривую, подчеркивая ее блестящими остриями палок.

- Я не решился на христианию, – сказал Джордж. – Слишком глубокий снег. А ты отлично съехал.

- С моей ногой нельзя делать телемарк, – сказал Ник.

Ник лыжей прижал верхнюю проволоку, и Джордж проехал через изгородь. Ник вслед за ним выехал на дорогу. Они шли, слегка согнув колени, по дороге, проложенной в сосновом бору. Здесь возили лес, и накатанный полозьями лед был в оранжевых и табачно-желтых пятнах от конской мочи. Лыжники держались полосы снега на обочине. Дорога круто спускалась к ручью и затем почти отвесно поднималась в гору. Сквозь деревья им виден был длинный облезлый дом с

широкими стрехами. Издали он выглядел сплошь блекло-желтым. Вблизи оконные рамы оказались зелеными. Краска лупилась. Ник палкой расстегнул зажим и сбросил лыжи.

– Лучше понесем их, – сказал он.

Он стал карабкаться по крутой дорожке с лыжами на плече, пробивая ледяную кору шипами каблука. Он слышал за спиной дыхание Джорджа и треск льда под его каблуками. Они прислонили лыжи к стене гостиницы, обмахнули друг другу штаны, потоптались, стряхивая с башмаков снег, и вошли в дом.

Внутри было почти темно. В углу комнаты поблескивала большая изразцовая печь. Потолок был низкий. Вдоль стен стояли гладкие деревянные скамьи и темные, в винных пятнах, столы. У самой печки, покуривая трубку, потягивая мутное молодое вино, сидели два швейцарца. Лыжники сняли куртки и сели у стены по другую сторону печки. Голос, певший в соседней комнате, умолк, и в комнату вошла служанка в синем переднике и спросила, что им подать.

– Бутылку сионского, – сказал Ник. – Согласен, Джорджи?

– Можно, – сказал Джордж. – В этом ты больше понимаешь. Я всякое вино люблю.

Служанка вышла.

– Нет ничего лучше лыж, правда? – сказал Ник. – Знаешь, это ощущение, когда начинаешь съезжать по длинному спуску.

– Да! – сказал Джордж. – Так хорошо, что и сказать нельзя.

Служанка принесла вино, и они никак не могли откупорить бутылку. Наконец Ник вытащил пробку. Служанка вышла, и они услышали, как она в соседней комнате запела по-немецки.

– Кусочки пробки попали. Ну, не беда, – сказал Ник.

– Как ты думаешь, есть у них какое-нибудь печенье?

– Сейчас спросим.

Служанка вошла, и Ник заметил, что у нее под передником обрисовывается круглый живот. «Странно, – подумал он, – как это я сразу не обратил внимания, когда она вошла».

– Что это вы поете? – спросил он.

– Это из оперы, из немецкой оперы. – Она явно не желала продолжать разговор. – У нас есть яблочная слойка, если хотите.

– Не очень-то она любезна, – сказал Джордж.

– Что ж ты хочешь? Она нас не знает и, наверно, подумала, что мы хотим посмеяться над ее пением. Она, должно быть, оттуда, где говорят по-немецки, и она стесняется, что она здесь. Да тут еще беременность, а она не замужем, вот и стесняется.

– Откуда ты знаешь, что она не замужем?

– Кольца нет. Да здесь ни одна девушка не выходит замуж, пока не пройдет через это.

Дверь отворилась, и в клубах пара, топая облепленными снегом сапогами, вошла партия лесорубов. Служанка принесла им три бутылки молодого вина, и они, сняв шляпы, заняли оба стола и молча покуривали трубки, кто прислонясь к стене, кто облокотившись на стол. Время от времени, когда лошади, запряженные в деревянные сани, встряхивали головой, снаружи доносилось резкое звяканье колокольчиков.

Джордж и Ник чувствовали себя отлично. Они очень любили друг друга. Они знали, что впереди еще весь долгий обратный путь.

– Когда тебе нужно возвращаться в университет? – спросил Ник.

– Сегодня вечером, – сказал Джордж. – Мне надо поспеть на поезд десять сорок из Монтре.

– Хорошо бы ты остался, мы бы завтра махнули на Дан-дю-Лис.

– Я должен закончить свое образование, – сказал Джордж. – А что, Ник, если бы нам пошататься вдвоем? Захватить лыжи и поехать поездом, сойти, где хороший снег, и идти куда глаза глядят, останавливаться в гостиницах, пройти насквозь Оберланд, и Вале, и Энгадин, а с собой взять только сумку с инструментами да положить в рюкзак запасной свитер и пижаму, и к черту учение и все на свете!

– И еще пройти через весь Шварцвальд. Ух, и места же!

– Это где ты рыбу ловил прошлым летом?

– Да.

Они съели слойку и допили вино.

Джордж прислонился к стене и закрыл глаза.

– Вино всегда так на меня действует, – сказал он.

– Тебе плохо? – спросил Ник.

– Нет, мне хорошо, только чудно как-то.

– Понимаю, – сказал Ник.

– Ну да, – сказал Джордж.

– Закажем еще бутылочку? – спросил Ник.

– Нет, довольно, – сказал Джордж.

Они еще посидели. Ник – облокотившись на стол, Джордж – прислонясь к стене.

– Что, Эллен ждет ребенка? – спросил Джордж, отделившись от стены и тоже ставя локти на стол.

– Да.

– Скоро?

– В конце лета.

– Ты рад?

– Да. Теперь рад.

– Вы вернетесь в Штаты?

– Очевидно.

– Тебе хочется?

– Нет.

– А Эллен?

– Тоже нет.

Джордж помолчал. Он смотрел на пустую бутылку и на пустые стаканы.

– Скверно, да? – спросил он.

– Нет, ничего, – ответил Ник.

– Так как же?

– Не знаю, – сказал Ник.

– Ты с ней будешь ходить на лыжах в Штатах?

– Не знаю.

– Там горы неважные, – сказал Джордж.

– Неважные, – сказал Ник. – Слишком скалистые. И слишком много лесу. И потом, они очень далеко.

– Верно, – сказал Джордж, – во всяком случае, в Калифорнии так.

– Да, – сказал Ник, – повсюду так, где мне приходилось бывать.

– Верно, – сказал Джордж, – повсюду так.

Швейцарцы встали из-за стола, расплатились и вышли.

– Жаль, что мы не швейцарцы, – сказал Джордж.

– У них у всех зоб, – сказал Ник.

– Не верю я этому.

– И я не верю.

Они засмеялись.

– А что, Ник, если нам с тобой никогда больше не придется вместе ходить на лыжах? – сказал Джордж.

– Этого быть не может, – сказал Ник. – Тогда не стоит жить на свете.

– Непременно пойдем, – сказал Джордж.

– Иначе быть не может, – подтвердил Ник.

– Хорошо бы дать друг другу слово, – сказал Джордж.

Ник встал. Он наглухо застегнул свою куртку. Потом потянулся через Джорджа и взял прислоненные к стене лыжные палки. Он крепко всадил острие палки в половицу.

– А что толку давать слово, – сказал он.

Они открыли дверь и вышли. Было очень холодно. Снег подернулся ледяной коркой. Дорога шла в гору, сосновым лесом.

Они взяли свои лыжи, прислоненные к стене. Ник надел рукавицы, Джордж уже начал подыматься в гору с лыжами на плече. Обратный путь еще можно проделать вместе.

Я услышал бой барабанов на улице, а потом рожки и гудки, а потом они повалили из-за угла, и все плясали. Вся улица была запружена ими. Маэра увидел его, а потом и я его увидел. Когда музыка умолкла и танцоры присели на корточки, он присел вместе со всеми, а когда музыка снова заиграла, он подпрыгнул и пошел, приплясывая, вместе с ними по улице. Понятно, он был пьян.

Спуститесь вы к нему, сказал Маэра, меня он ненавидит.

Я спустился вниз, и нагнал их, и схватил его за плечо, пока он сидел на корточках и дожидался музыки, чтобы вскочить, и сказал: идем, Луи. Побойтесь бога, вам сегодня выступать. Он не слушал меня. Он все слушал, не заиграет ли музыка.

Я сказал: не валяйте дурака, Луи. Идемте в отель.

Тут музыка снова заиграла, и он подпрыгнул, увернулся от меня и пошел плясать. Я схватил его за руку, а он вырвался и сказал: да оставь ты меня в покое. Тоже папаша нашелся.

Я вернулся в отель, а Маэра стоял на балконе и смотрел, веду я его или нет. Увидев меня, он вошел в комнату и спустился вниз взбешенный.

В сущности, сказал я, он просто неотесанный мексиканский дикарь.

Да, сказал Маэра, а кто будет убивать его быков, после того как он сядет на рог?

Мы, надо полагать, сказал я.

Да, мы, сказал Маэра. Мы будем убивать быков за них, за дикарей, и за пьяниц, и за танцоров. Да. Мы будем убивать их. Конечно, мы будем убивать их. Да. Да. Да.

Мой старик

Теперь, когда я об этом думаю, мне кажется, что моему старику сама природа предназначила быть толстяком, одним из тех маленьких, кругленьких толстячков, какие встречаются повсюду, но он так и не растолстел, разве только под конец, а это было уже не страшно, потому что тогда он участвовал только в скачках с препятствиями, и ему можно было прибавлять в весе. Помню, как он натягивал прорезиненную куртку поверх двух фуфаяк, а сверху еще толстый свитер, и утром заставлял меня бегать вместе с ним по жару. Бывало, он приедет из Турина часам к четырем утра и отправляется в кэбе на ипподром, берет из конюшни Раццо какого-нибудь овра на поездку, а потом, когда все кругом еще покрыто росой и солнце только что всходит, я помогаю ему стащить сапоги, он надевает спортивные туфли и все эти свитеры, и мы принимаемся за дело.

– Двигайся, малыш, – скажет он, бывало, разминая ноги перед дверями жокейской. – Пошли.

И тут мы с ним пускаемся рысцой по скаковой дорожке, он впереди, обежим раза два, а потом выбегаем за ворота на одну из тех дорог, что идут от Сан-Сиро и по обе стороны обсажены деревьями. На дороге я всегда обгонял его, я умел бегать в то время; оглянешься, а он трусит легкой рысцой чуть позади, немного погодя оглянешься еще раз, а он уже начинает потеть. Весь обливается потом, а все бежит за мной по пятам и смотрит мне в спину, а когда увидит, что я оглядываюсь, ухмыльнется и скажет: «Здорово потею?» Когда мой старик ухмылялся, нельзя было не ухмыльнуться ему в ответ. Бежим, бывало, все прямо, к горам, потом мой старик окликнет меня: «Эй, Джо!» –

оглянешься, а он уже сидит под деревом, обмотав шею полотенцем, которым был подпоясан.

Повертываешь обратно и садишься рядом с ним, а он достает из кармана скакалку и начинает прыгать на самом припеке, и пот градом льется у него с лица, а он все скачет в белой пыли, и скакалка хлопает, хлопает – хлоп, хлоп, хлоп, – а солнце печет все жарче, а он старается все пуще, скачет взад и вперед по дороге. Да, стоило посмотреть, как мой старик скачет через веревочку. Он то крутил ее быстро-быстро, то ударял о землю медленно и на разные лады. Да, надо было видеть, как глазели на нас итальяшки, шагая мимо по дороге в город рядом с крупными белыми волами, тащившими повозку. Видно было, что они принимают моего старика за полоумного. И тут он начинал так крутить веревку, что они останавливались как вкопанные и смотрели на него, а потом понукали волов и, ткнув их бодилом, снова трогались в путь.

Я сидел под деревом и, глядя, как он работает на самом припеке, думал – хороший у меня старик. Смотреть на него было весело, и работал он на совесть, и заканчивал настоящей мельницей, так что пот ручьями струился у него по лицу, а потом вешал скакалку на дерево и, обмотав полотенце и свитер вокруг шеи, садился рядом со мной, прислонившись к дереву.

– Чертова эта работа – сгонять жир, Джо, – скажет он, бывало, и, откинувшись назад, закроет глаза и сделает несколько долгих, глубоких вздохов, – теперь не то, что в молодости. – Потом постоит немножко, чтобы остынуть, и мы с ним рысцой пускаемся в обратный путь, к конюшням. Таким манером он сгонял вес. Это не давало ему покоя. Другие жокеи одной ездой могут согнать сколько угодно жиру. Жокей теряет за каждую поездку не меньше кило, а мой

старик вроде как пересох и не мог сгонять вес без всей этой тренировки.

Помню, как-то раз в Сан-Сиро маленький итальяшка Реголи, жокей конюшни Бузони, шел через загон в бар выпить чего-нибудь, похлопывая по сапогам хлыстиком; он только что взвесился, и мой старик тоже только что взвесился и вышел с седлом под мышкой, весь красный, замученный, и остановился, глядя на Реголи, который стоял перед верандой бара, совсем мальчишка с виду и ни капельки не запаренный, и я сказал:

– Ты что, папа? – я было подумал, не толкнул ли его Реголи, а он только взглянул на Реголи и сказал:

– А, да ну его к черту! – пошел в раздевалку.

Что ж, может, ничего бы и не случилось, если б мы остались в Милане и работали в Милане и Турине, потому что если бывают где-нибудь легкие скачки, так это именно там.

– Пианола, Джо, да и только, – говорил мой старик, слезая с лошади у конюшни, после заезда, который этим итальяшкам казался верхом трудности. Я как-то спросил его об этом. – Дорожка здесь такая, что сама бежит. Брать препятствия опасно только при быстрой езде. Ну, а тут какая уж быстрота, да и препятствия пустяковые. А впрочем, главное – всегда быстрота, а не препятствия.

Такого замечательного ипподрома, как в Сан-Сиро, я нигде больше не видел, но мой старик ворчал, что это собачья жизнь. Таскаться взад и вперед из Мирафьоре в Сан-Сиро, работать чуть ли не каждый день, да еще через день ездить по железной дороге.

Я тоже был просто помешан на лошадях. Что-то в них есть, когда они выходят на старт и приближаются по дорожке к столбу. Словно танцуют, и все такие подобранные, а жокей натягивает поводья изо всех сил, а может быть, и отпускает немножко, дает лошади пробежать несколько шагов. А когда они подходят к

старту, я просто сам не свой. Особенно в Сан-Сиро – такой большой зеленый круг, и горы вдали, толстый итальянец-стартер с длинным хлыстом, жокеи сдерживают лошадей, и вдруг ленточка разрывается, звонок звонит, и все они разом срываются с места, а потом начинают растягиваться в одну линию. Да вы, верно, знаете, как оно бывает. Когда стоишь на трибуне с биноклем, видишь только, что все они тронулись с места, и звонок начинает звонить, и кажется, что он звонит целую тысячу лет, и вот они уже обогнули круг, вылетают из-за поворота. Мне всегда казалось, что с этим ничто не сравнится.

А мой старик сказал как-то в уборной, когда переодевался после езды:

– Это не лошади, Джо. В Париже всех этих одров отправили бы на живодерню. – Это было в тот день, когда он взял Коммерческую премию на Ланторне, с такой силой послал ее на последних ста метрах, что она вылетела вперед, как пробка из бутылки.

Сразу после Коммерческой премии мы смотали удочки и убрались из Италии. Мой старик, Голбрук и толстый итальянец в соломенной шляпе, который то и дело утирал лицо носовым платком, поссорились из-за чего-то за столиком в Galleria^[28]. Говорили все время по-французски, и оба они приставали с чем-то к моему старику. Под конец он уже ничего не отвечал, а только глядел на Голбрука, а они все приставали к нему, говорили то один, то другой, и толстяк все перебивал Голбрука.

– Поди купи мне «Спортсмена», Джо, – сказал мой старик и протянул мне два сольди, не сводя глаз с Голбрука.

Я вышел из Galleria на площадь и перед «Ла Скала» купил газету, а потом вернулся и стал немного поодаль, чтобы не мешать, а мой старик сидит, откинувшись на

спинку стула, смотрит в чашку с кофе и играет ложкой, а Голбрук с толстым итальянцем стоят рядом, и толстяк, качая головой, утирается платком. Подхожу ближе, а старик держит себя так, словно их тут и не бывало, и говорит:

– Хочешь мороженого, Джо?

Голбрук посмотрел на старика сверху вниз и сказал с расстановкой:

– Ах ты, сукин сын! – и пошел прочь вместе с толстяком, пробираясь между столиками.

Мой старик сидел и через силу улыбался мне, а сам весь бледный – видно было, что ему здорово не по себе, и я порядком струхнул и тоже чувствовал себя неважно, я видел, что что-то случилось, и не понимал, как это возможно, чтобы кто-нибудь обозвал моего старика сукиным сыном и это сошло бы ему с рук. Мой старик развернул «Спортсмена» и стал просматривать отчеты о скачках, потом сказал:

– Мало ли что приходится терпеть на этом свете, Джо.

А через три дня мы навсегда уехали из Милана в Париж туринским поездом, распродав с аукциона (перед конюшней Тернера) все, что не поместилось в сундук и чемодан.

Мы приехали в Париж рано утром, поезд подошел к длинному грязному вокзалу – Лионскому вокзалу, как сказал мне мой старик. По сравнению с Миланом Париж очень большой город. В Милане кажется, что все куда-нибудь идут, и трамваи идут известно куда, и нет никакой путаницы, а в Париже – какой-то сплошной клубок, и никак его не распутаешь.

Под конец мне там даже стало нравиться, пусть и не все, да и скачки там самые лучшие в мире. Как будто на них все и держится, и в одном только можно быть уверенным: что каждый день автобусы будут идти ко всем ипподромам и проедут через всю эту путаницу до

самого ипподрома. Я так и не узнал Парижа как следует, потому что приезжал туда с моим стариком из Мезон-Лафит раза два в неделю, и он всегда вместе со всеми нашими из Мезон сидел в кафе де Пари с той стороны, что ближе к Опере, и, по-моему, это самое бойкое место в городе. А ведь чудно, что в таком большом городе, как Париж, нет своей Galleria, не правда ли?

Ну, мы поселились у одной миссис Мейерс, которая держит пансион в Мезон-Лафит; там живут почти все, кроме той компании, что в Шантильи. Мезон замечательное место, я никогда еще в таком не жил. Самый город не так хорош, зато есть озеро и замечательный лес, где мы, мальчишки, бывало, пропадали целыми днями. Мой старик сделал мне рогатку, и мы настреляли из нее пропасть птиц, а всего лучше была сорока. Маленький Дик Анткинсон подстрелил из этой рогатки кролика, мы положили его под дерево и уселись кругом, и Дик угостил нас сигаретами, как вдруг кролик вскочил и удрал в кусты, и мы погнались за ним, но так и не догнали. Да, весело там жилось! Миссис Мейерс давала мне утром позавтракать, и я уходил на целый день. Я скоро научился говорить по-французски. Это не очень трудный язык.

Как только мы приехали в Мезон-Лафит, мой старик написал в Милан, чтобы ему выслали жокейское свидетельство, и очень волновался, пока не получил его. В Мезон он всегда сидел в кафе де Пари со всей компанией; многие из тех, кого он знал еще до войны, когда работал в Париже, жили в Мезон-Лафит, и у всех хватало времени сидеть в кафе, потому что вся работа в скаковых конюшнях, то есть работа жокеев, кончается к девяти часам утра. Первую партию лошадей выводят на проездку в половине шестого, а вторую – в восемь часов утра. Значит, вставать надо рано и ложиться тоже рано.

Если жокей у кого-нибудь работает, ему нельзя много пить, потому что тренер за ним следит, если он мальчишка, а если не мальчишка, то он сам за собой следит. Так вот, если жокей не работает, он по большей части сидит в кафе де Пари со всей компанией; возьмут стакан вермута с содовой и сидят часа два-три, разговаривают, рассказывают анекдоты, играют на бильярде, и это у них вроде клуба или миланской Galleria. Только это не совсем похоже на Galleria, потому что там народ ходит взад и вперед, а здесь все сидят за столиками.

Ну так вот, мой старик в конце концов получил свои права. Прислали по почте без всяких возражений, и он ездил раза два. В Амьен, в провинцию, все в таком роде, а постоянной работы достать не мог. Все ему были приятели, и, как ни придешь утром в кафе, всегда кто-нибудь с ним выпивает, потому что мой старик был не какой-нибудь скряга, вроде тех жокеев, что заработали свой первый доллар на международной выставке в Сент-Луисе в девятьсот четвертом году. Так говаривал мой старик, когда хотел поддразнить Джорджа Бернса. А вот лошадей моему старику никто почему-то не давал.

Мы каждый день ездили на трамвае из Мезон-Лафит куда-нибудь на скачки, и это было самое интересное. Я был рад, когда после летнего сезона лошади вернулись из Довилля. Хотя теперь уже нельзя было больше бродить по лесам, потому что мы с утра уезжали в Энгиен, Трамбле или Сен-Клу и смотрели на скачки с жокейской трибуны. Само собой, я много узнал о скачках в этой компании, а всего лучше было то, что мы ездили каждый день.

Помню одну поездку в Сен-Клу. Там были большие скачки на приз в двести тысяч франков с семью заездами, и фаворитом был Ксар. Я прошел вместе с моим стариком в загон посмотреть лошадей; таких лошадей вы, верно, не видывали. Этот Ксар был

крупный соловый жеребец, весь словно одно движение. Я таких еще не видывал. Его водили по загону, и когда он прошел мимо нас, опустив голову, у меня засосало под ложечкой, до того он был хорош. Трудно даже представить себе такую замечательную, статную, сильную лошадь. А Ксар шел по загону, неторопливо и осторожно переставляя ноги, и двигался так легко и точно, как будто сам знал, что ему делать, и не дергался, не становился на дыбы, не косил дико глазами, как лошади на аукционе, когда их подпят чем-нибудь. Толпа была такая густая, что я его почти не видел – только ноги мелькали да что-то желтое, и мой старик стал проталкиваться сквозь толпу, а я за ним, к жокейской уборной среди деревьев, и там тоже толпился народ; но человек в котелке, стоявший у двери, кивнул моему старику, и мы прошли внутрь; там все сидели и одевались, натягивали рубашки через голову, надевали сапоги, и от всего этого несло потом, мазью и духотой, а снаружи толпа заглядывала в окна.

Мой старик подошел к Джорджу Гарднеру, который надевал брюки, сел рядом с ним и говорит: «Ну, что скажешь, Джордж?» – самым обыкновенным голосом, потому что нечего было и выведывать: Джордж сразу скажет, если знает.

– Он не возьмет, – говорит Джордж очень тихо, наклоняясь и застегивая штанину внизу на пуговицу.

– А кто же? – говорит мой старик, нагибаясь к нему поближе, чтобы никто не слышал.

– Керкоббин, – говорит Джордж, – и если он возьмет, оставь парочку билетов на мою долю.

Мой старик сказал что-то Джорджу обыкновенным голосом, и Джордж ответил: «Никогда не держи пари, вот что я тебе скажу», – будто бы в шутку, и мы вышли и пробрались сквозь толпу к стофранковой кассе. Но я понял, что дело серьезное, потому что Джордж едет на Ксаре. По пути он купил желтую табличку ставок, и там

было сказано, что за Ксара дают только 5 к 10, за Сефизидота – 3 к 1, в пятом же списке стоял Керкоббин – 8 к 1. Мой старик поставил на Керкоббина пять тысяч в ординаре и тысячу в двойном, и мы обошли трибуну, чтобы подняться по лестнице и отыскать себе место, откуда скачки были бы лучше видны.

На трибуне было тесно, и сначала вышел человек в длинном сюртуке, сером цилиндре и со свернутым хлыстом, а за ним показались лошади с жокеями в седле, одна за другой, и конюхи справа и слева вели их под уздцы. Первый шел этот большой соловый Ксар. Сразу он не казался таким большим, а только потом, когда разглядишь, какие у него длинные ноги и какие движения и все стати. Да, я таких лошадей никогда в жизни не видывал. На нем ехал Джордж Гарднер, и все они двигались медленно за стариком в сером цилиндре, который выступал, словно шталмейстер в цирке. За Ксаром, который двигался плавно и отливал золотом на солнце, шел статный вороной конь с красивой головой, на нем ехал Томми Арчибальд; а за вороным вытянулись в ленту еще пять лошадей, и все они проходили медленным шагом мимо трибуны к весам. Мой старик сказал, что вороной и есть Керкоббин, и я стал разглядывать его, и он был ничего себе, славный конек, но никакого сравнения с Ксаром.

Все захлопали Ксару, когда он проходил мимо, да и стоило того: замечательная была лошадь. Все шествие прошло по дальней стороне, за кругом, а потом обратно, к нашему концу ипподрома, и распорядитель приказал конюхам отпустить лошадей одну за другой, чтобы они прошли галопом мимо трибуны к старту и всем можно было бы их разглядеть хорошенько. Не успели они подойти к старту, как зазвонил звонок, и вот они уже далеко по ту сторону круга, скачут, сбившись все в кучу, и уже огибают первый поворот, будто игрушечные лошадки. Я смотрел на них в бинокль, и

Ксар здорово отстал, а вела одна из гнедых. Они показались из-за поворота и пронеслись мимо, и Ксар порядком отстал, когда они скакали мимо нас, а этот Керкоббин был впереди и шел ровно. Ей-богу, просто дух захватывает, когда они промчатся мимо тебя, и приходится смотреть им вслед, а они все уходят и уходят, и становятся все меньше и меньше, и на повороте собьются все в кучу, а потом выходят на прямую, и до того хочется выругаться, просто мочи нет. В конце концов они обогнули последний поворот и вышли на прямую, и этот Керкоббин был намного впереди. Все были озадачены и как-то растерянно повторяли «Ксар», а лошади подходили все ближе и ближе, и вдруг что-то вынеслось вперед и мелькнуло в моем бинокле, словно желтая молния с конской головой, и все завопили «Ксар», словно полоумные. Ксар неся с такой быстротой, какой я ни у одной лошади не видывал, и нагнал Керкоббина, который шел не быстрее всякой другой лошади, когда жокей нахлестывает ее изо всех сил, и около секунды оба они шли голова в голову, хотя казалось, что Ксар идет чуть ли не вдвое быстрее, такие громадные он делал скачки и так вытянул шею, но столб они прошли голова в голову, и когда вывесили номера, то первая была двойка, а это значило, что взял Керкоббин.

Мне было как-то не по себе, я весь дрожал, а потом нас стиснули, когда толпа повалила вниз по лестнице к доске, где должны были вывесить, сколько выдают на Керкоббина. Честное слово, глядя на скачки, я совсем забыл, какую уйму денег отец поставил на Керкоббина, до того мне хотелось, чтобы пришел Ксар. Но теперь, когда все кончилось, приятно было знать, что мы выиграли.

– Правда, скачки были замечательные, папа? – сказал я ему.

Он посмотрел на меня как-то странно, сдвинув котелок на затылок.

– Джордж Гарднер замечательный наездник, это верно, – сказал он. – Нужно быть мастером, чтоб не дать Ксару прийти первым.

Конечно, я все время знал, что дело неладно. Но от того, что мой старик так прямо и сказал это, все удовольствие для меня пропало, и даже, когда вывесили номера на доске и мы увидели, что за Керкоббина выдают 67.50, я все равно не почувствовал никакого удовольствия. Кругом все говорили:

– Бедняга Ксар! Бедняга Ксар!

А я думал:

«Хорошо, если бы я был жокей и ездил бы на нем вместо этого сукина сына».

Как-то чудно было думать, что Джордж Гарднер – сукин сын, потому что он мне всегда нравился, и, кроме того, он же нам назвал победителя, но все равно, по моему, он и есть сукин сын.

После этих скачек у моего старика завелись большие деньги, и он стал чаще ездить в Париж. Если скачки бывали в Трамбле, то наши высаживали его в городе на обратном пути в Мезон-Лафит, и мы с ним сидели перед кафе де ла Пэ и смотрели на прохожих. Сидеть там очень весело. Публика идет мимо целым потоком, и к вам подходят разные люди и предлагают купить то одно, то другое, и я очень любил сидеть там с моим стариком. Вот тогда мы больше всего веселились. Там были продавцы игрушечных кроликов, которые прыгают, когда нажмешь баллон, они подходили к нам, и отец шутил с ними. Он говорил по-французски вроде как по-английски, и все эти люди его узнавали – жокея всегда сразу видно, и потом мы всегда сидели за одним и тем же столиком, и они уже привыкли к нам. Там были мальчишки, которые продавали брачные газеты, и девушки, которые продавали резиновые яйца – если

пожмешь их, то выскочит петушок, – и был еще один старикашка, похожий на червяка, который ходил и показывал открытки с видами Парижа, и, конечно, никто их не покупал, а он подходил еще раз и показывал, что у него внизу пачки, и там сплошь неприличные открытки, и многие рылись в них и покупали.

Да, много бывало там занятных людей. Попозже вечером девушки искали, не сведет ли их кто-нибудь поужинать, и заговаривали с моим стариком, а он отшучивался по-французски, и они гладили меня по голове и проходили дальше. Как-то вечером за соседний столик села американка с маленькой дочкой, обе они ели мороженое, а я все глядел на девочку, она была такая хорошенькая, и я улыбнулся ей, и она тоже мне улыбнулась, но этим все и кончилось, потому что больше я их так и не видел, хотя каждый день ждал, не придут ли они, и не знал, как с ней заговорить и отпустят ли ее со мной в Отейль или в Трамбле, если мы познакомимся. Все равно из этого ничего не вышло бы, потому что, как я теперь припоминаю, мне казалось, что всего лучше было бы заговорить с ней так: «Может быть, вы разрешите мне указать вам победителя на сегодняшних скачках в Энгийене», – и она, верно, сочла бы меня за «жучка» и не поверила бы, что я только хочу оказать ей услугу.

Мы сидели, бывало, в кафе де Пари, и официант был к нам очень внимателен, потому что мой старик пил виски, и это стоило пять франков, и полагалось давать хорошие чаевые, после того как подсчитают блюдечки. Я никогда раньше не видел, чтобы мой старик столько пил, зато теперь он совсем не ездил, да еще уверял, что от виски худеет. Но я-то видел, что он толстеет. Он отбился от своей прежней компании из Мезон-Лафит, и ему как будто нравилось вот так сидеть на бульваре вместе со мной. Но он каждый день играл на скачках.

Если он проигрывал, то после скачек бывал какой-то скучный, пока не усядется за столик и не выпьет первую рюмочку, а после того сразу развеселится.

Он всегда читал «Пари-спорт»; выглянет, бывало, из-за газеты и спросит: «Где твоя милая, Джо?» – чтобы подразнить меня, потому что я рассказал ему про девочку за соседним столиком. А я краснел, но мне было приятно, что меня ею дразнят. Мне это очень нравилось. «Гляди в оба, Джо, – говорил он, – она еще вернется».

Он расспрашивал меня о том о сем и иной раз смеялся моим ответам. А потом сам начинал рассказывать. Про скачки в Египте и в Сен-Морице по льду, когда еще жива была моя мать, и во время войны, когда на юге Франции устраивались настоящие скачки без призов, без пари, без публики, просто так, для того только, чтобы не перевелась порода. Настоящие скачки, когда жокеи загоняли лошадей чуть не до смерти. Я мог слушать моего старика целыми часами, особенно после того, как он выпьет, бывало, рюмочку-другую. Он рассказывал мне про то, как еще мальчишкой в Кентукки охотился на енота, и про старые времена в Штатах, еще до того, как все там пошло прахом. И говаривал, бывало:

– Джо, когда мы с тобой загребем хороший куш, ты вернешься в Штаты и будешь учиться.

– Зачем же я поеду туда учиться, когда там все пошло прахом? – спрашивал я.

– Это совсем другое дело, – говорил он и, подозвав официанта, платил за стопку блюдецек, и мы брали такси до вокзала Сен-Лазар и садились на поезд в Мезон-Лафит.

Однажды в Отейле на аукционе мой старик купил победителя за тридцать тысяч франков. Пришлось немного надбавить, но в конце концов лошадь все-таки досталась моему старику, и через неделю он получил

свидетельство и цвета. Ну и гордился же я, что мой старик сделался собственником. Он договорился насчет денника с Чарльзом Дрэйком, бросил ездить в Париж и опять начал тренироваться и сгонять вес, а конюхов было только двое – он да я. Нашего жеребчика звали Гилфорд, он был ирландской породы и чудесно брал препятствия. Мой старик рассчитал, что если самому тренировать его и самому ездить, то затрата окупится. Я всем этим гордился и считал, что наш Гилфорд нисколько не хуже Ксара. Это был славный гнедой жеребец, очень резвый на ровной дорожке, если его расшевелить хорошенько, и к тому же на редкость красивый.

Ну и любил же я нашего Гилфорда! В первый же раз, как мой старик ехал на нем, он пришел к финишу третьим в скачке с препятствиями на две тысячи пятьсот метров, и когда мой старик слез с седла, сияющий и весь в поту, и пошел взвешиваться, я так им гордился, как будто это была первая скачка, в которой он занял место. Понимаете ли, когда человек давно не ездил, трудно поверить, что он когда-то был жокеем. Теперь все это было совсем по-другому, потому что в Милане мой старик был равнодушен даже к большим скачкам и, если выигрывал, нисколько не волновался, а теперь было так, что я совсем не спал в ночь перед скачками и знал, что мой старик тоже волнуется, хоть и не показывает этого. Совсем другое дело – скакать на своей лошади.

Второй раз Гилфорд с моим стариком стартовал в одно дождливое воскресенье в Отейле, в скачках с препятствиями на четыре тысячи пятьсот метров на приз Марата. Как только он выехал на старт, я забрался на трибуну с новым биноклем, который мой старик для того и купил мне, чтоб я на них смотрел. Старт был далеко, на дальнем конце ипподрома, и у барьера сначала что-то не ладилось. Какая-то лошадь в темных

шорах все нервничала, становилась на дыбы и раз даже наскочила на барьер, но мне было видно, что мой старик в нашем черном камзоле с белым крестом и в черном картузе сидит на Гилфорде и оглаживает его. Потом они поскакали и скрылись из виду за деревьями, и звонок звонил что есть мочи, и окна кассы захлопнулись со стуком. Ох, я до того волновался, просто боялся на них смотреть, а все-таки навел бинокль на то место, где они должны были показаться из-за деревьев, и они показались; наш черный камзол шел третьим, и все они перелетели через ров как птицы. Тут они опять скрылись из виду, потом показались и поскакали вниз по косоугору, и шли ровно, легко и красиво, плавно взяли изгородь все разом, потом стали удаляться от нас сплошной массой. Казалось, можно было прямо шагать по их спинам, так они слились в одно целое и так ровно шли. Потом, распластавшись, они перенеслись через двойную ирландскую банкетку, и кто-то упал. Мне не видно было, кто упал, но через минуту лошадь поднялась и поскакала галопом в сторону, а остальные, все еще сгрудившись, обогнули длинный левый поворот и вышли на прямую. Они перескочили каменную стенку и поскакали по треку ко рву с водой напротив трибун. Я видел, как они подходят, и окликнул моего старика, когда он проскакал мимо; он был впереди почти на целый корпус и немножко в стороне, легкий, как обезьяна, и все они скакали ко рву с водой. Все разом взяли высокую изгородь у рва, и вдруг послышался треск, и все смешалось, и две лошади выскочили оттуда боком и поскакали дальше, а три остались лежать. Моего старика нигде не было видно. Одна лошадь поднялась на колени, и жокей ухватился за повод, сел и отправился получать свои деньги за место. Другая лошадь поднялась сама и пошла галопом, мотая головой, с повисшими поводьями, а жокей,

пошатываясь, отошел с трека к ограде. И тут Гилфорд откатился в сторону от моего старика, встал и пошел прочь на трех ногах, волоча правое копыто, а мой старик лежал как пласт на траве, лицом кверху, и голова у него была вся в крови с одного бока. Я сбежал с трибуны вниз и протолкался сквозь толпу к самой ограде, тут полицейский схватил меня и не выпускал, и двое рослых санитаров с носилками пошли за моим стариком, а далеко, на другой стороне ипподрома, я увидел, как три лошади, вытянувшись в ленточку, показались из-за деревьев и взяли препятствие.

Мой старик был уже мертв, когда его принесли, и в то время, как доктор слушал его сердце какой-то штукой, вставленной в уши, я услышал выстрел на треке и понял, что это убили Гилфорда. Когда носилки внесли в приемный покой, я лег рядом со стариком, уцепился за носилки и плакал, плакал, а он был такой бледный и осунувшийся, такой мертвый, и все-таки я не мог не думать, что раз уж мой старик умер, незачем было пристреливать Гилфорда. Копыто у него еще зажило бы. Не знаю, право. Я так любил моего старика.

Потом вошли какие-то двое, и один из них похлопал меня по спине, подошел к моему старику и посмотрел на него, потом стянул простыню с койки и прикрыл его; а другой говорил в телефон по-французски, чтобы прислали санитарную карету и отвезли его в Мезон. А я все не мог перестать и плакал навзрыд, а тут вошел Джордж Гарднер, сел на пол рядом со мной, обнял меня и сказал:

– Ну, будет, Джо, вставай, пойдем на улицу дожидаться санитарной кареты.

Мы с Джорджем вышли за ворота, и я старался больше не плакать. Джордж вытер мне лицо своим платком, и мы отошли немножко в сторону, пока толпа выходила из ворот, и какие-то двое остановились рядом

с нами, пока мы дожидались, чтобы все вышли из ворот, и один из них сказал, пересчитывая пачку билетов:

– Ну! Доигрался-таки Бэтлер в конце концов.

Другой сказал:

– Ну и черт с ним, с мошенником. Того и надо было ждать, сам напрашивался.

– Конечно, сам напрашивался, – сказал первый и разорвал пачку билетов пополам.

Джордж Гарднер взглянул на меня, слышал я или нет; само собой, я все слышал, и он сказал:

– Не слушай этих дураков, Джо. Твой отец был молодчина.

Не знаю, право. Похоже, что стоит им только взяться, и от человека ничего не останется.

Маэра лежал неподвижно, уткнувшись лицом в песок, закрыв голову руками. Под ним было тепло и липко от крови. Он всякий раз чувствовал приближение рогов. Иногда бык только толкал его головой. Раз он почувствовал, как рог прошел сквозь его тело и воткнулся в песок. Кто-то схватил быка за хвост. Все кричали на быка и махали плащами перед его мордой. Потом бык исчез. Какие-то люди подняли Маэру и бегом пронесли его по арене, потом через ворота, кругом по проходу под трибунами, в лазарет. Маэру положили на койку, и кто-то пошел за доктором. Остальные столпились возле койки. Доктор прибежал прямо из корраля, где он зашивал животы лошадям пикадоров. Ему пришлось сперва вымыть руки. Сверху, с трибун, доносился рев толпы. Маэра почувствовал, что все кругом становится все больше и больше, а потом все меньше и меньше. Потом опять больше, больше и больше и снова меньше и меньше. Потом все побежало мимо, быстрее и быстрее, – как в кино, когда ускоряют фильм. Потом он умер.

На Биг-Ривер (I)

Поезд исчез за поворотом, за холмом, покрытым обгорелым лесом. Ник сел на свой парусиновый мешок с припасами и постелью, который ему выбросили из багажного вагона. Города не было, ничего не было, кроме рельсов и обгорелой земли. От тринадцати салунов на единственной улице Сенея не осталось и следа. Торчал из земли голый фундамент «Гранд-отеля». Камень от огня потрескался и раскрошился. Вот и все, что осталось от города Сенея. Даже верхний слой земли обратился в пепел.

Ник оглядел обгорелый склон, по которому раньше были разбросаны дома, затем пошел вдоль путей к мосту через реку. Река была на месте. Она бурлила вокруг деревянных свай. Ник посмотрел вниз, в прозрачную воду, темную от коричневой гальки, устилавшей дно, и увидел форелей, которые, подрагивая плавниками, неподвижно висели в потоке. Пока он смотрел, они вдруг изменили положение, быстро вильнув под углом, и снова застыли в несущейся воде. Ник долго смотрел на них.

Он смотрел, как они держатся против течения, множество форелей в глубокой, быстро бегущей воде, слегка искаженных, если смотреть на них сверху, сквозь стеклянную выпуклую поверхность бочага, в котором вода вздувалась от напора на сваи моста. Самые крупные форели держались на дне. Сперва Ник их не заметил. Потом он вдруг увидел их на дне бочага – крупных форелей, старавшихся удержаться против течения на песчаном дне в клубках песка и гравия, взметенных потоком.

Ник смотрел в бочаг с моста. День был жаркий. Над рекой вверх по течению пролетел зимородок. Давно

уже Нику не случилось смотреть в речку и видеть форелей. Эти были очень хороши. Когда тень зимородка скользнула по воде, вслед за ней метнулась большая форель, ее тень вычертила угол; потом тень исчезла, когда рыба выплеснулась из воды и сверкнула на солнце; а когда она опять погрузилась, ее тень, казалось, повлекло течением вниз, до прежнего места под мостом, где форель вдруг напряглась и снова повисла в воде, головой против течения.

Когда форель шевельнулась, сердце у Ника замерло. Прежнее ощущение ожило в нем.

Он повернулся и взглянул вниз по течению. Река уходила вдаль, выстланная по дну галькой, с отмелями, валунами и глубокой заводью в том месте, где река огибала высокий мыс.

Ник пошел обратно по шпалам, туда, где на золе около рельсов лежал его мешок. Ник был счастлив. Он расправил ремни, туго их затянул, взвалил мешок на спину, продел руки в боковые петли и постарался ослабить тяжесть на плечах, налегая лбом на широкий головной ремень. Все-таки мешок был очень тяжел. Слишком тяжел. В руках Ник держал кожаный чехол с удочками, и, наклоняясь вперед, чтобы переместить тяжесть повыше на плечи, он пошел по тропинке вдоль полотна, оставляя позади, под жарким солнцем, городское пожарище, потом свернул в сторону между двух высоких обгорелых холмов и выбрался на дорогу, которая вела прочь от полотна. Он шел по дороге, чувствуя боль в спине от тяжелого мешка. Дорога все время шла в гору. Подниматься в гору было трудно. Все мышцы у Ника болели, и было жарко, но Ник был счастлив. Он чувствовал, что все осталось позади, не нужно думать, не нужно писать, ничего не нужно. Все осталось позади.

За это время – с той минуты, как он сошел с поезда и ему выбросили мешок из багажного вагона, – Ник

увидел, что многое изменилось. Сеной сгорел, и склоны кругом обгорели и стали совсем другими, но это ничего. Все не могло же сгореть. Ник был в этом уверен. Он брел по дороге, весь в поту под жарким солнцем, поднимаясь в гору, чтобы пересечь цепь холмов, отделявшую полотно железной дороги от лесистой равнины.

Дорога шла то вверх, то вниз, но в общем все поднималась. Ник шел все дальше в гору. Наконец дорога, некоторое время тянувшаяся по обгорелому склону, вывела его на вершину холма. Ник прислонился к пню и сбросил плечевые ремни. Прямо перед ним, сколько он мог охватить взглядом, раскинулась равнина. Следы пожара кончались слева, у подножья холмов. Среди равнины были разбросаны островки темного соснового леса. Вдали, налево, виднелась река. Ник проследил ее взглядом и уловил блеск воды на солнце.

Равнина раскинулась до самого горизонта, где далекие голубые холмы отмечали границу возвышенности Верхнего озера. Далекие и неясные, они были едва видны сквозь дрожащий от зноя воздух над залитой солнцем равниной. Если пристально глядеть на них, они пропадали. Но если взглядывать на них вскользь, они были там, далекие холмы Верхнего озера.

Ник сел на землю, прислонился к обгорелому пню и закурил. Мешок лежал на пне, с ремнями наготове, на нем еще оставалась вмятина от спины Ника. Ник сидел, курил и глядел по сторонам. Ему незачем было доставать карту. По положению реки он и так мог сказать, где находится.

Пока Ник курил, вытянув ноги, он заметил, что с земли на его шерстяной носок взобрался кузнечик. Кузнечик был черный. Когда Ник шел по дороге в гору, у него из-под ног все время выскакивали кузнечики. Все они были черные. Это были не те крупные кузнечики, у

которых, когда они взлетают, под черными надкрыльями с треском раскрываются желтые с черным или красные с черным крылышки. Это были самые обыкновенные кузнечики, но только черные, как сажа. Ник обратил на них внимание, еще когда шел по дороге, но тогда он над этим не задумался. Теперь, глядя, как черный кузнечик пощипывает ворс на его носке, он сообразил, что они стали черными, оттого что жили на обугленной земле. Пожар, должно быть, случился в прошлом году, но кузнечики и сейчас были черные. Любопытно бы знать, сколько еще времени они останутся черными?

Он осторожно протянул руку и поймал кузнечика за крылья. Ник перевернул его – кузнечик при этом все время перебирал лапками в воздухе – и стал рассматривать его кольчатое брюшко. Да, и брюшко тоже было черное, переливчатое, а голова и спина тусклые.

– Ну, ступай, кузнечик, – сказал Ник. В первый раз он заговорил громко. – Лети себе.

Он подбросил кузнечика в воздух и проводил его взглядом, когда тот полетел через дорогу к обугленному пню.

Ник поднялся на ноги. Он прислонился спиной к своему мешку, лежащему на пне, и продел руки в ременные петли. Он стоял на вершине холма с мешком на спине и глядел через равнину вдаль, на реку, потом свернул с дороги и стал спускаться напрямик по склону холма. По обгорелой земле было легко идти. Шагах в двухстах от склона следы пожара прекращались. Дальше начинался высокий, выше щиколотки, мягкий дрок и сосны небольшими островками; волнистая равнина с песчаной почвой, с частыми подъемами и спусками, зеленая и полная жизни.

Ник ориентировался по солнцу. Он знал на реке хорошее местечко и теперь, чтобы выйти туда, решил

пересечь равнину, поднимаясь на невысокие склоны, за которыми открывались новые склоны, а иногда с возвышения вдруг обнаруживался справа или слева большой остров густого соснового леса. Он нарвал похожего на вереск дрова и подсунул себе под ремни. Ремни растирали дрок, и Ник на ходу все время чувствовал его запах.

Он устал, и было очень жарко идти по неровной, лишенной тени равнине. Он знал, что в любое время может выйти к реке, стоит только свернуть налево. До реки, наверное, не больше мили. Но он продолжал идти на север, чтобы к вечеру выйти к реке как можно выше по течению.

Уже давно Ник видел перед собой большой остров соснового леса, выступавший над волнистой равниной. Ник спустился в лощинку, а затем, выйдя на гребень, повернул и пошел к лесу.

В лесу не было кустарника. Стволы поднимались одни прямо вверх, другие немного наклонно, но все были прямые и темные, и внизу веток на них не было. Ветки начинались высоко вверху. Местами они переплетались, отбрасывая наземь густую тень. По краю леса шла полоса голой земли. Земля была темная и мягкая под ногами. Ее покрывал ковер из сосновых игл, выдвинувшийся здесь за пределы леса. Деревья выросли, и ветки передвинулись выше, и те места, на которые раньше падала от них тень, теперь оказались открытыми. На небольшом расстоянии от деревьев эта лесная почва сразу кончалась, и дальше шли заросли дрока.

Ник сбросил мешок и прилег в тени. Он лежал на спине и глядел вверх сквозь ветки. Он вытянулся на земле, и плечи, спина и поясница у него отдыхали. Приятно было чувствовать спиной землю. Он поглядел на небо между ветвями, потом закрыл глаза. Потом

снова открыл и поглядел вверх. Высоко в ветвях был ветер. Он опять закрыл глаза и заснул.

Ник проснулся с ломотой и болью в теле. Солнце уже почти село. Мешок показался ему тяжелым, и ремни резали плечи. Он нагнулся с мешком на спине, поднял чехол с удочками и пошел через заросли дрока по направлению к реке. Он знал, что до реки не больше мили.

По склону, усеянному пнями, он спустился на луг. За лугом открылась река. Ник был доволен, что добрался до нее. Он пошел лугом вдоль реки, вверх по течению. Брюки у него намокли от росы. После жаркого дня выпала ранняя и обильная роса. Река не шумела. У нее было слишком ровное и быстрое течение. На краю луга, прежде чем искать высокое место для ночлега, Ник остановился и посмотрел на реку. Форели поднимались на поверхность воды в погоне за насекомыми, которые после захода солнца стали появляться из болота за рекой. В погоне за ними форели выпрыгивали из воды. Пока Ник шел по лугу вдоль реки, форели то и дело выпрыгивали из воды. Теперь все насекомые, должно быть, опустились на воду, потому что форели ловили их прямо на поверхности. Повсюду на реке, сколько мог охватить взгляд, форели поднимались из глубины, и по воде всюду шли круги, как будто начинался дождь.

Ник поднялся по склону, песчаному и лесистому, откуда виден был луг, полоска реки и болото. Ник сбросил мешок, положил на землю чехол с удочками и огляделся, отыскивая ровное место. Он был очень голоден, но хотел разбить лагерь, раньше чем приниматься застряпню. Ровное место нашлось между двумя соснами. Ник достал из мешка топор и срубил два торчавших из земли корня. Получилась ровная площадка, достаточно большая, чтобы на ней устроиться на ночлег. Ник ладонями разровнял песок и повыдергал дрок с корнями. Руки стали приятно

пахнуть дроком. Взрытую землю он снова разровнял. Он не хотел, чтобы у него были бугры на постели. Выровняв землю, он расстелил три одеяла. Одно он сложил вдвое и постелил прямо на землю. Два других постелил сверху.

От одного из пней он отколол блестящий сосновый горбыль и расщепил его на колышки для палатки. Он сделал их прочными и длинными, чтобы они крепко держались в земле. Когда он вынул палатку и расстелил ее на земле, мешок, прислоненный к сосновому стволу, стал совсем маленьким. К стволу одной сосны Ник привязал веревку, поддерживающую верх палатки, потом натянул ее, подпернув таким образом палатку кверху, и конец веревки обмотал вокруг другой сосны. Теперь палатка висела на веревке, как простыня, повешенная для просушки. Шестом, который Ник вырезал еще раньше, он подпер задний угол палатки и затем колышками закрепил бока. Он туго натянул края и глубоко вогнал колышки в землю, заколачивая их обухом топора, так что веревочные петли совсем скрылись в земле, а парусина стала тугая, как барабан.

Открытую сторону палатки Ник затянул кисеей, чтобы комары не забрались внутрь. Захватив из мешка кое-какие вещи, которые можно было положить под изголовье, Ник приподнял кисею и заполз в палатку. Сквозь коричневую парусину в палатку проникал свет. Приятно пахло парусиной. В палатке было таинственно и уютно. Ник почувствовал себя счастливым, когда забрался в палатку. Он и весь день не чувствовал себя несчастным. Но сейчас было иначе. Теперь все было сделано. Днем вот это – устройство лагеря – было впереди. А теперь это сделано. Переход был тяжелый. Он очень устал. И он все сделал. Он разбил палатку. Он устроился. Теперь ему ничего не страшно. Это хорошее место для стоянки. И он нашел это хорошее место. Он

теперь был у себя, в доме, который сам себе сделал, на том месте, которое сам выбрал. Теперь можно было поесть.

Он выполз из палатки, приподняв кисею. В лесу уже стемнело. В палатке было светлей.

Ник подошел к мешку, ощупью отыскал бумажный пакет с гвоздями и со дна пакета достал длинный гвоздь. Он вбил его в ствол сосны, придерживая пальцами и тихонько ударяя обухом топора. На гвоздь он повесил мешок. В мешке были все его припасы. Теперь они подвешены высоко и будут в сохранности.

Ник был голоден. Ему казалось, что никогда в жизни он не бывал так голоден. Он открыл две банки с консервами – одну со свининой и бобами, другую с макаронами – и выложил все это на сковородку.

– Я имею право это есть, раз притащил на себе, – сказал Ник. Голос его странно прозвучал среди леса, в гущающейся темноте. Больше он не говорил вслух.

Он развел костер из сосновых щепок, которые отколол топором от пня. Над костром он поставил жаровню, каблуком заколотив в землю все четыре ножки. На решетку над огнем он поставил сковороду. Ему еще больше захотелось есть. Бобы и макароны разогрелись. Ник перемешал их. Они начинали кипеть, на них появлялись маленькие пузырьки, с трудом поднимавшиеся на поверхность. Кушанье приятно пахло. Ник достал бутылку с томатным соусом и отрезал четыре ломтика хлеба. Пузырьки вскакивали все чаще. Ник уселся возле костра и снял с огня сковородку. Половину кушанья он вылил на оловянную тарелку. Оно медленно разлилось по тарелке. Ник знал, что оно еще слишком горячее. Он подлил на тарелку немного томатного соуса. Он знал, что бобы и макароны и сейчас еще слишком горячие. Он поглядел на огонь, потом на палатку; он вовсе не намеревался обжигать язык и портить себе все удовольствие. Он никогда,

например, не мог с удовольствием поесть жареных бананов, потому что у него не хватало терпения дожидаться, пока они остынут. Язык у него очень чувствителен к горячему. Ник был очень голоден. Он увидел, что за рекой, над болотом, где уже почти стемнело, поднимается туман. Он опять поглядел на палатку. Ну, теперь можно. Он зачерпнул ложкой с тарелки.

– Ах, черт! – сказал Ник. – Ах, черт побери! – сказал он с наслаждением.

Он съел полную тарелку и даже не вспомнил о хлебе. Вторую порцию он съел с хлебом и дочиستا вытер коркой тарелку. С самого утра он ничего не ел, кроме кофе и сэндвича с ветчиной на вокзале в Сент-Игнесе. Все вместе было очень приятно. Замечательное ощущение. Ему и раньше случалось бывать очень голодным, но тогда не удавалось утолить голод. Он мог бы уже давно разбить лагерь, если бы захотел. На реке было сколько угодно хороших мест. Но так лучше.

Ник подбросил в костер две большие сосновые щепки. Огонь запылал сильнее. Ник вспомнил, что не принес воды для кофе. Он достал из мешка брезентовое ведро и по склону холма, а потом краем луга спустился к реке. На том берегу лежал белый туман. Трава была мокрая и холодная. Ник стал на колени на берегу и забросил ведро в воду. Оно расправилось в воде и крепко натянуло веревку. Вода была ледяная. Ник сполоснул ведро, наполнил его до краев и понес в лагерь. Повыше, над рекой, было не так холодно.

Ник вбил в дерево еще один большой гвоздь и подвесил ведро с водой. Он до половины наполнил кофейник, подбросил щепок в костер и поставил кофейник на решетку. Он не мог припомнить, как он раньше варил кофе. Помнил только, что однажды поспорил из-за этого с Хопкинсом, но позабыл, какой способ он тогда защищал. Он решил вскипятить кофе. И

тут же вспомнил, что это как раз и есть способ Хопкинса. Когда-то они готовы были спорить обо всем на свете. Поджидая, пока кофе закипит, он открыл небольшую банку с абрикосовым компотом. Ему нравилось открывать банки. Он опорожнил банку в оловянную чашку. Поглядывая на кофейник, Ник сначала выпил абрикосовый сок, очень осторожно, стараясь не пролить, а потом неторопливо стал подбирать уже сами фрукты. Они были вкуснее, чем свежие абрикосы.

Кофейник тем временем вскипел. Крышка приподнялась, и кофе, вместе с гущей, потек по кофейнику. Ник снял кофейник с решетки. Хопкинс мог торжествовать. Ник положил сахару в пустую чашку, из которой только что пил компот, и налил в нее немного кофе, чтоб остыл. Коре был очень горячий, и, наливая, Ник прихватил ручку кофейника своей шляпой. Он не даст гуще осесть в кофейнике. По крайней мере, хоть первую чашку покрепче. Пускай все будет по Хопкинсу, с начала до конца. Хопкинс это заслужил. Хопкинс был знаток приготовления кофе, серьезный человек. Самый серьезный из всех, кого Ник знал. Это все было очень давно. Хопкинс, когда разговаривал, не шевелил губами. Он любил играть в поло. Он нажил миллионы в Техасе. Когда пришла телеграмма, что на его участке забил фонтан, ему пришлось занять денег на билет до Чикаго. Он мог бы телеграфировать, чтобы ему послали денег, но это было бы слишком дорого. Его невесту прозвали «Белокурой Венерой». Хоп не обижался, потому что она не была его настоящей невестой. Как-то раз он сказал, что совершенно спокоен на этот счет, – над его настоящей невестой никто не посмел бы шутить. Он был прав. Потом пришла телеграмма, и он уехал. Это случилось на Блэк-Ривер. Телеграмма шла восемь дней. Хопкинс подарил Нику свой кольт двадцать второго калибра. Фотоаппарат он подарил

Биллу. Это – затем, чтобы они его не забывали. Будущим летом все они собирались на рыбную ловлю. Теперь, когда Хоп разбогател, он купит яхту, они будут плавать по Верхнему озеру вдоль северного берега. При прощании Хоп был взволнован, но серьезен. Всем стало грустно. С его отъездом экскурсия расстроилась. Больше они никогда не видели Хопкинса. Все это было очень давно, на Блэк-Ривер.

Ник выпил кофе, приготовленный по способу Хопкинса. Кофе оказался горьким. Ник засмеялся. Недурная концовка для рассказа. Мысль его начала работать. Он знал, что может ее остановить, потому что достаточно устал. Он вылил кофе из кофейника и вытряхнул гущу в костер. Он закурил папиросу и заполз в палатку. Сидя на одеялах, он снял брюки и башмаки, завернул башмаки в брюки, подложил их под голову вместо подушки и забрался под одеяло.

Через открытую сторону палатки он видел, как рдеют угли костра, когда их раздувает ночным ветром. Ночь была тихая. На болоте было совершенно тихо. Ник удобно растянулся под одеялом. У самого его уха жужжал комар. Ник сел и зажег спичку. Комар сидел на парусине у него над головой. Ник быстро поднес к нему спичку и с удовлетворением услышал, как комар зашипел на огне. Спичка погасла. Ник снова вытянулся под одеялом. Он повернулся на бок и закрыл глаза. Ему хотелось спать. Он чувствовал, что засыпает. Он свернулся под одеялом и заснул.

Сэма Кардинелла повесили в шесть часов утра в коридоре окружной тюрьмы. Коридор был высокий и узкий, с камерами по обе стороны. Все камеры были заняты. Осужденных доставили заранее. Пятеро приговоренных к повешению находились в первых пяти камерах. Трое из них были негры. Они очень боялись. Один из белых сидел на койке, опустив голову на руки. Другой лежал, вытянувшись на койке, закутав голову одеялом.

К виселице выходили через дверь в стене. Всего было семь человек, считая вместе с обоими священниками. Сэма Кординелла пришлось нести. Он был в таком состоянии с четырех часов утра.

Когда ему связывали ноги, два надзирателя поддерживали его, а оба священника шептали ему на ухо.

– Будь мужчиной, сын мой, – говорил один из священников.

Когда к нему подошли, чтобы надеть ему на голову капюшон, у Сэма Кардинелла началось недержание кала. Надзиратели с отвращением бросили его.

– Нет ли табуретки, Билл? – спросил один из надзирателей.

– Принесите, – сказал какой-то человек в котелке.

Когда все отступили за спускной люк, который был очень тяжел, сделан из дуба и стали и вращался на шарикоподшипниках, посреди помоста остался Сэм Кардинелл, сидевший на стуле, крепко связанный: священник отпрыгнул назад в самую последнюю минуту перед тем, как опустили люк.

На Биг-Ривер (II)

Когда он проснулся, солнце было высоко, и палатка уже начала нагреваться. Ник вылез из-под сетки от комаров, которой был затянут вход в палатку, поглядеть, какое утро. Когда он вылезал, трава была мокрая на ощупь. Брюки и башмаки он держал в руках. Солнце только что поднялось над холмом. Кругом были луг, река, болото. За рекой по краю болота росли березы.

Сейчас, ранним утром, река была светлая, гладкая, бежала быстро. Шагов на двести ниже по течению поперек реки торчали три коряги. Вода перекатывалась через них гладкая и глубокая. Ник увидел, как выдра перешла по корягам через реку и скрылась в болоте. Раннее утро и река радовали его. Ему не терпелось отправиться в путь, хотя бы и без завтрака, но он знал, что позавтракать необходимо. Он развел небольшой костер и поставил кофейник на огонь.

Пока вода нагревалась, Ник взял пустую бутылку и спустился к реке. Луг был мокрый от росы, и Ник хотел наловить кузнечиков для наживки раньше, чем солнце обсушит траву. Он нашел много отличных кузнечиков. Они сидели у корней травы. Некоторые сидели на стеблях. Все были холодные и мокрые от росы и не могли прыгать, пока не обсохнут на солнце. Ник стал собирать их; он брал только коричневых, среднего размера и сажал в бутылку. Он перевернул поваленное дерево, и там, под прикрытием, кузнечики сидели сотнями. Здесь был их дом. Ник набрал в бутылку не меньше пятидесяти штук коричневых, среднего размера. Пока он их собирал, остальные отогрелись на солнце и начали прыгать в разные стороны. Прыгая, они

раскрывали крылышки. Они делали прыжок и, упав на землю, больше уже не двигались, словно мертвые.

Ник знал, что к тому времени, как он позавтракает, кузнечики совсем оживут. Если упустить время, то целый день уйдет на то, чтобы набрать полную бутылку хороших кузнечиков, и, кроме того, сбивая их шляпой, он многих передавит. Он сошел на берег и вымыл руки. Его радовало, что он так близко от реки. Потом он пошел к палатке. Кузнечики уже тяжело прыгали по траве. В бутылке, обогретые солнцем, они прыгали все разом. Ник заткнул бутылку сосновой палочкой. Она как раз настолько затыкала горлышко, что кузнечики не могли выскочить, а воздух проходил свободно.

Ник перекатил бревно на прежнее место; он знал теперь, что здесь можно будет каждое утро набирать сколько угодно кузнечиков.

Бутылку, полную прыгающих кузнечиков, Ник прислонил к сосне. Он проворно смешал немного гречневой муки с водой, чашку муки на чашку воды, и замесил тесто. Он всыпал горсть кофе в кофейник, добыл кусок сала из банки и бросил его на горячую сковородку. Потом в закипевшее сало он осторожно налил теста. Оно разлилось по сковородке, как лава. Сало пронзительно шипело. Тесто по краям стало затвердевать, потом подрумяниваться, потом отставать от сковороды. Поверхность пузырилась, становилась пористой. Ник взял чистую сосновую щепку и подсунул ее под лепешку, уже подрумяненную снизу. Он встряхнул сковороду, и лепешка отделилась от дна. «Только бы не разорвать», – подумал Ник. Он подсунул щепку как можно дальше под лепешку и перевернул ее на другой бок. Она зашипела.

Когда лепешка была готова, Ник опять смазал сковороду салом. Теста хватило на два больших блина и один поменьше.

Ник съел большой блин, потом маленький, намазав их яблочным желе. Третий блин он намазал яблочным желе и сложил пополам, завернул в пергамент и положил в боковой карман. Он спрятал банку с желе обратно в мешок и отрезал четыре ломтика хлеба для сэндвичей.

В мешке он отыскал большую луковицу. Он разрезал ее пополам и содрал шелковистую верхнюю кожицу. Затем одну половину он изрезал на тонкие кружки и приготовил два сэндвича с луком. Их он тоже завернул в пергамент, засунул в другой большой карман и застегнул пуговицу. Он положил сковороду вверх дном на решетку, выпил кофе, сладкий и желтовато-коричневый от сгущенного молока, и, прибрал лагерь. Хороший получился у него лагерь.

Ник достал свой спиннинг из кожаного чехла, свинтил удилище, а чехол засунул обратно в палатку. Он надел катушку и стал наматывать на нее лесу. Лесу приходилось при этом перехватывать из руки в руку, иначе она разматывалась от собственной тяжести. Это была тяжелая двойная леса. Когда-то Ник заплатил за нее восемь долларов. Она была нарочно сделана толстой и тяжелой, чтобы ею можно было взмахнуть и чтобы она тяжело, плоско падала и прямо ложилась на воду; иначе нельзя было бы далеко забросить легкую наживку. Ник открыл алюминиевую коробочку с поводками. Поводки были проложены фланелевой прокладкой. Фланелевую прокладку Ник в поезде смочил водой, когда подъезжал к Сент-Игнесу. От влаги поводки размягчились, и Ник расправил один и привязал узелком к концу тяжелой лесы. К поводку он привязал крючок. Крючок был маленький, очень тонкий и упругий.

Ник достал крючок, положив удилище на колени. Он туго натянул лесу, проверяя узлы и скрепления на

удилище. Это было приятно. Он проделал это осторожно, чтобы крючок не воткнулся в руку.

Он стал спускаться к реке, держа в руках спиннинг; бутылка с кузнечиками висела у него на шее на ремешке, обвязанном вокруг горлышка. Сачок для рыбы висел на крючке на поясе. Через плечо у него был подвешен длинный мешок из-под муки; верхние углы мешка он завязал бечевкой и перекинул бечевку через плечо. Мешок хлопал его по ногам.

Обвешанный всем этим снаряжением, Ник двигался с трудом, но чувствовал себя настоящим рыболовом. Бутылка с кузнечиками болталась у него на груди. Карманы ковбойки, набитые сэндвичами и коробочками с крючками и наживкой, давили на грудь.

Он вошел в воду. Его обожгло. Брюки прилипли к ногам. Сквозь башмаки он чувствовал камешки на дне. Холодная вода обжигала, поднимаясь все выше по ногам.

Вода бурлила вокруг его ног. Там, где он вошел в реку, вода была выше колен. Он побрел по течению. Ноги скользили по гравию. Он глянул вниз, в водовороты, крутившиеся вокруг его ног, и встряхнул бутылку, чтобы достать кузнечика.

Первый кузнечик, выбравшись из горлышка, одним прыжком выскочил из бутылки и упал в воду. Его сейчас же засосало водоворотом возле правой ноги Ника, потом он выплыл немного ниже по течению. Он быстро плыл, барахтаясь. Внезапно на гладкой поверхности воды появился круг, и кузнечик исчез. Его поймала форель.

Другой кузнечик высунул голову из горлышка бутылки. Он поводил усиками. Он карабкался по горлышку бутылки, готовясь прыгнуть. Ник ухватил его за голову и, крепко держа, стал насаживать на крючок; он воткнул ему крючок под челюсти и дальше, сквозь грудь, до самого последнего сегмента брюшка.

Кузнечик обхватил крючок передними ногами и выпустил на него табачного цвета сок. Ник забросил его в воду.

Держа спиннинг в правой руке, он повел лесу против течения. Левой рукой он снял лесу с катушки и пустил ее свободно. Кузнечик был еще виден среди мелкой ряби. Потом скрылся из виду.

Вдруг леса натянулась. Ник стал выбирать ее. В первый раз клюнуло. Держа ожившую теперь удочку поперек течения, он подтягивал лесу левой рукой. Удилище то и дело сгибалось, когда форель дергала лесу. Ник чувствовал, что это небольшая форель. Он поставил удилище стоймя. Оно согнулось.

Он увидел в воде форель, дергающуюся головой и всем телом; наклонная черта лесы в воде постепенно выпрямлялась.

Ник перехватил лесу левой рукой и вытащил на поверхность устало бившуюся форель. Спина у нее была пятнистая, светло-серая, такого же цвета, как просвечивающая сквозь воду галька, бока сверкнули на солнце. Зажав удочку под мышкой. Ник нагнулся и окунул правую руку в воду. Мокрой правой рукой он взял ни на минуту не перестававшую биться форель, вынул у нее крючок изо рта и пустил ее обратно в воду.

Мгновение форель висела в потоке, потом опустилась на дно возле камня. Ник протянул к ней руку, до локтя погрузив ее в воду. Форель оставалась неподвижной в бегущей воде, лежала на дне, возле камня. Когда Ник пальцами коснулся ее гладкой спинки, он ощутил подводный холод ее кожи; форель исчезла, только тень ее скользнула по дну.

«Ничего. Обойдется, – подумал Ник. – Просто она устала».

Он смочил руку, прежде чем взять форель, чтобы не повредить одевавший ее нежный слизевой покров. Если тронуть ее сухой рукой, на пораженном месте

развивается белый паразитический грибок. Раньше, когда Ник ловил форелей на реках, где бывало много народу и, случалось, впереди него и позади шли другие рыболовы, ему постоянно попадались дохлые форели, все в белом пуху, прибитые течением к камню или плавающие брюхом вверх в тихой заводи. Ник не любил, когда на реке были другие рыболовы. Если они не принадлежат к вашей компании, они портят все удовольствие.

Он побрел дальше по течению, по колено в воде, по мелководью, занимавшему участок шагов в пятьдесят длиной, выше коряг, торчавших поперек реки. Он держал крючок в руке, но не стал насаживать на него новой приманки. На отмелях можно наловить мелкой форели, но она Ника не интересовала. А крупной форели в этот час дня не бывает на мелководье.

Теперь вода доходила ему до бедер, холодная, обжигающая, и прямо перед ним была заводь, запруженная корягами. Вода была гладкая и темная; налево – нижний край луга, направо – болото.

Ник откинулся назад, навстречу течению, и достал кузнечика из бутылки. Он насадил его на крючок и плюнул на него, на счастье. Затем он размотал несколько ярдов лесы с катушки и забросил кузнечика далеко вперед, в быструю темную воду. Кузнечик поплыл к корягам, потом от тяжести лесы ушел под воду. Ник держал удище в правой руке, пропуская лесу между пальцами.

Лесу сильно дернуло. Ник подсек, и удище поднялось, напряженное, словно живое, согнутое пополам, готовое сломиться; и леса натянулась, выходя из воды; она натягивалась все сильнее, все напряженней. Ник почувствовал, что еще секунда – и поводок оборвется, он опустил лесу.

Катушка завертелась с визгом, когда леса начала стремительно разматываться. Слишком быстро. Ник не

успевал следить за лесой, леса слетала с катушки, визг становился все пронзительней.

Катушка обнажилась. Сердце у Ника, казалось, перестало биться от волнения. Откинувшись назад в ледяной воде, доходившей ему до бедер. Ник крепко прихватил катушку левой рукой. Большой палец с трудом влезал в отверстие катушки.

Когда он задержал катушку, леса вдруг стала тугой и жесткой, и за корягами огромная форель высоко выпрыгнула из воды. Ник тотчас нагнул удилице, чтобы ослабить лесу. Но уже в тот момент, как он его нагибал, он почувствовал, что напряжение слишком велико, леса стала слишком тугой. Ну конечно, поводок оборвался. Он безошибочно это почувствовал по тому, как леса вдруг потеряла всякую упругость, стала сухой и жесткой. Потом ослабла.

Во рту у Ника пересохло, сердце упало. Он стал наматывать лесу на катушку. Ему никогда не попадалось такой большой форели. Чувствовалось, что она такая тяжелая, такая сильная, что ее не удержишь. И какая громадина. С хорошего лосося величиной.

Руки у Ника тряслись. Он медленно наматывал лесу. Он слишком перевозмужился. У него закружилась голова, слегка поташнивало, хотелось присесть отдохнуть.

Поводок оборвался в том месте, где был привязан к крючку. Ник взял его в руки. Он думал о форели, о том, как где-то на покрытом гравием дне она старается удержаться против течения, глубоко на дне, куда не проникает свет, под корягами, с крючком во рту. Ник знал, что зубы форели в конце концов перекусят крючок. Но самый кончик так и останется у нее в челюсти. Форель, наверно, злится. Такая огромная тварь обязательно должна злиться. Да, вот это была форель. Крепко сидела на крючке. Как камень. Она и

тяжелая была, как камень, пока не сорвалась. Ну и здоровая же. Черт, я даже не слышал про таких.

Ник выбрался на луг. Вода стекала у него по брюкам, хлюпала в башмаках. Он прошел немного берегом и сел на корягу. Он не спешил, ему хотелось продлить удовольствие.

Он пошевелил пальцами ног в воде, наполнявшей башмаки, и достал папиросу из бокового кармана. Он закурил и бросил спичку в быстро бегущую воду под корягами. Когда спичку завертело течением, за ней погналась маленькая форель. Ник засмеялся. Сперва он выкурит папиросу.

Он сидел на коряге, курил, обсыхая на солнце, солнце грело ему спину, впереди река уходила в лес и, повернув, исчезала в лесу, – отмели, блеск солнца, большие отполированные водой камни, кедры вдоль берега и белые березы, коряга, теплая от солнца, на ней удобно сидеть, гладкая, без коры, серая на ощупь. И постепенно его покинуло чувство разочарования, резко сменившее возбуждение, от которого у него даже заболели плечи. Теперь опять все было хорошо. Положив удилище на корягу, он привязал новый крючок к поводку и до тех пор затягивал жилу, пока она не слиплась в твердый, плотный узелок.

Он насадил наживку, потом взял удочку и перешел по корягам на тот берег, чтобы сойти в воду в неглубоком месте. Под корягами и за ними было глубоко. Нику пришлось обойти песчаную косу на том берегу, прежде чем он добрался до мелководья.

Налево, там, где кончался луг и начинались леса, лежал большой, вывороченный с корнем вяз. Его повалило грозой, и он лежал вершиной к лесу; корни были занесены илом и обросли травой, образуя бугор у самой воды. Река подмывала вывороченные корни. С того места, где Ник стоял, ему были видны глубокие, похожие на колеи, впадины, промытые течением в

мелком дне. Там, где стоял Ник, дно было покрыто галькой; подальше – тоже усеяно галькой и большими, торчащими из воды камнями. Но там, где река делала изгиб возле корней вяза, дно было илистое, и между впадинами извивались языки зеленых водорослей.

Ник взмахнул удочкой назад через плечо, потом вперед, и леса, описав дугу, увлекла кузнечика в одну из глубоких впадин, в чащу водорослей. Форель клюнула, и Ник подсек.

Вытянув удилище далеко вперед, по направлению к поваленному дереву, и пятась по колено в воде. Ник вывел форель, которая все время ныряла, сгибая удилище, из опасной путаницы водорослей в открытую воду. Держа удилище, гнувшееся, как живое, Ник стал подтягивать к себе форель. Форель рвалась, но постепенно приближалась, удилище подавалось при каждом рывке, иногда его конец уходил в воду, но всякий раз форель подтягивалась немного ближе. Подняв удилище над головой, Ник провел форель над сачком и сачком подхватил ее.

Форель тяжело висела в сачке, сквозь петли виднелись ее пятнистая спинка и серебряные бока. Ник снял ее с крючка – приятно было держать в руке ее плотное тело с крепкими боками, с выступающей вперед нижней челюстью – и, бьющуюся, большую, спустил ее в мешок, свисавший в воду с его плеч. Держа мешок против течения, Ник приоткрыл его; мешок наполнился водой и стал тяжелым. Ник приподнял его, и вода начала вытекать. Дно мешка оставалось в воде, и там билась большая форель.

Ник пошел вниз по течению. Мешок висел спереди, погруженный в воду, оттягивая ему плечи.

Становилось жарко, солнце жгло ему затылок.

Одну хорошую форель он уже поймал. Много ему и не нужно. Река стала широкой и мелкой. По обоим берегам росли деревья. На левом берегу деревья под

утренним солнцем отбрасывали на воду короткие тени. Ник знал, что везде в тени есть форели. После полудня, когда солнце станет над холмами, форели перейдут в прохладную тень возле другого берега.

Те, что покрупней, будут под самым берегом. На Блэк-Ривер всегда можно было их там найти. Когда же солнце садилось, они выходили на середину реки. Как раз когда солнце заливало реку слепящим блеском, форели хорошо ловились повсюду. Но ловить их в этот час было почти невозможное по поверхности реки слепила, как зеркало на солнце. Конечно, можно было повернуться против течения, но на такой реке, как эта или Блэк-Ривер, брести против течения трудно, а в глубоких местах вода валит с ног. Не так-то это просто на реках с быстрым течением.

Ник пошел дальше по мелководью, вглядываясь, не окажется ли возле берега глубоких ям. На самом берегу рос бук, так близко к реке, что ветви его окунались в воду. Вода крутилась вокруг листьев. В таких местах всегда водятся форели.

Нику не хотелось ловить в этой яме. Крючок наверняка зацепится за ветку.

Однако на вид тут было очень глубоко. Он забросил кузнечика так, что он ушел под воду, его закружило течением и унесло под нависшие над водой ветви. Леса сильно натянулась, и Ник подсек. Между ветвей и листьев тяжело плеснулась форель, наполовину выскочив из воды. Конечно, крючок зацепился. Ник сильно дернул, и форель исчезла. Ник смотал лесу и, держа крючок в руке, пошел вниз по течению.

Впереди, под левым берегом, лежала большая коряга. Ник видел, что в середине она пустая; вода не бурлила вокруг ее верхнего конца, а входила внутрь гладкой струей, только по бокам разбегалась мелкая рябь. Река становилась все глубже. Сверху коряга была серая и сухая. Она была наполовину в тени.

Ник вынул затычку из бутылки вместе с уцепившимся за нее кузнечиком. Ник снял его, насадил на крючок и забросил в воду. Он вытянул удилище далеко вперед, так что кузнечика понесло течением прямо к коряге. Ник нагнул удилище, и кузнечика затянуло внутрь. Лесу сильно дернуло. Ник потянул к себе удилище. Можно было подумать, что крючок зацепился за корягу, если бы только не живая упругость удочки.

Ник попробовал вывести рыбу на открытое место. Тащить ее было тяжело.

Вдруг леса ослабла, и Ник подумал, что форель сорвалась. Потом он увидел ее очень близко, в открытой воде; форель дергала головой, стараясь освободиться от крючка. Рот у нее был крепко сжат. Она изо всех сил боролась с крючком в светлой, быстро бегущей воде. Смотав лесу левой рукой, Ник поднял удилище, чтобы натянуть лесу, и попытался подвести форель к сачку, но она метнулась прочь, исчезла из виду, рывками натягивая лесу. Ник повел ее против течения, предоставив ей дергаться в воде, насколько позволяла упругость удилища. Он перенял удочку левой рукой, повел форель против течения – она не переставала бороться, всей своей тяжестью повисая на лесе, – и опустил ее в сачок. Он поднял сачок из воды, форель висела на нем тяжелым полукольцом, из сетки бежала вода, он снял форель с крючка и опустил ее в мешок.

Он приоткрыл мешок и заглянул в него – на дне мешка трепетали в воде две большие форели.

По все углублявшейся воде Ник побрел к пустой коряге. Он снял мешок через голову – форели забились, когда мешок поднялся из воды, – и повесил его на корягу так, чтобы форели были глубоко погружены в воду. Потом он залез на корягу и сел; вода с его брюк и башмаков стекала в реку. Он положил удочку, перебрался на затененный конец коряги и достал из

кармана сандвичи. Он окунул их в холодную воду. Крошки унесло течением. Он съел сандвичи и зачерпнул шляпой воды напиться; вода вытекала из шляпы чуть быстрее, чем он успевал пить.

В тени на коряге было прохладно. Ник достал папиросу и чиркнул спичкой по коряге. Спичка глубоко ушла в серое дерево, оставив в нем бороздку. Ник перегнулся через корягу, отыскал твердое место и зажег спичку. Он сидел, курил и смотрел на реку.

Впереди река сужалась и уходила в болото. Вода становилась здесь гладкой и глубокой, и казалось, что болото сплошь поросло кедрами, так тесно стояли стволы и так густо сплетались ветви. По такому болоту не пройдешь. Слишком низко растут ветви. Пришлось бы ползти по земле, чтобы пробраться между ними. «Вот почему у животных, которые водятся в болоте, такое строение тела», – подумал Ник.

Он пожалел, что ничего не захватил почитать. Ему хотелось что-нибудь почитать. Забираться в болото ему не хотелось. Он взглянул вниз по реке. Большой кедр наклонился над водой, почти достигая противоположного берега. Дальше река уходила в болото.

Нику не хотелось идти туда. Не хотелось брести по глубокой воде, доходящей до самых подмышек, и ловить форелей в таких местах, где невозможно вытащить их на берег. По берегам болота трава не росла, и большие кедры смыкались над головой, пропуская только редкие пятна солнечного света; в полутьме, в быстром течении, ловить рыбу было небезопасно. Ловить рыбу на болоте – дело опасное. Нику этого не хотелось. Сегодня ему не хотелось спускаться еще ниже по течению.

Он достал нож, открыл его и воткнул в корягу. Потом подтянул к себе мешок, засунул туда руку и вытащил одну из форелей. Захватив ее рукой поближе к

хвосту, скользкую, живую, Ник ударил ее головой о корягу, Форель затрепетала и замерла. Ник положил ее в тень на корягу и тем же способом оглушил вторую форель. Он положил их рядышком на корягу. Это были очень хорошие форели.

Ник вычистил их, распоров им брюхо от анального отверстия до нижней челюсти. Все внутренности вместе с языком и жабрами вытянулись сразу. Обе форели были самцы; длинные серовато-белые полоски молоко, гладкие и чистые. Все внутренности были чистые и плотные, вынимались целиком. Ник выбросил их на берег, чтобы их могли подобрать выдры.

Он обмыл форели в реке. Когда он держал их в воде против течения, они казались живыми. Окраска их кожи еще не потускнела. Ник вымыл руки и обтер их о корягу. Потом он положил форелей на мешок, разостланный на коряге, закатал и завязал сверток и уложил его в сачок. Нож все еще торчал, воткнутый в дерево. Ник вычистил лезвие о корягу и спрятал нож в карман.

Ник встал во весь рост на коряге, держа удилище в руках; сачок тяжело свисал с его пояса; потом он сошел в реку и, шлепая по воде, побрел к берегу. Он взобрался на берег и пошел напрямик через лес по направлению к холмам, туда, где находился лагерь. Он оглянулся. Река чуть виднелась между деревьями. Впереди было еще много дней, когда он сможет ловить форелей на болоте.

L'ENVOI[29]

Король работал в саду. Казалось, он очень мне обрадовался. Мы прошли по саду. «Вот королева», – сказал он. Она подрезала розовый куст. «Здравствуйте», – сказала она. Мы сели за стол под большим деревом, и король велел принести виски и содовой. «Хорошее виски у нас пока еще есть», – сказал король. Он сказал мне, что революционный комитет не разрешает ему покидать территорию дворца. «Пластирас, по-видимому, порядочный человек, – сказал король, – но ладить с ним нелегко. Впрочем, я думаю, он правильно сделал, что расстрелял этих молодцов. Конечно, в таких делах самое главное – это чтобы тебя самого не расстреляли!»

Было очень весело. Мы долго разговаривали. Как все греки, король жаждал попасть в Америку.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

[Другие книги серии «Рассказы»](#)

notes

Примечания

1

старина (фр.)

2

слушай (итал.)

З

собор (итал.)

4

замок (фр.)

5

прислужники на арене

6

дождь идет (итал.)

7

да, да, синьора, ужасная погода (итал.)

8

Вы что-нибудь потеряли, синьора? (итал.)

9

да, кошка (итал.)

10

хозяин (итал.)

11

войдите (итал.)

куадрилья – общее название для всех подручных матадора: пикадоров, бандерильеро и пунтильера

13

кинжал, которым приканчивают быка

14

кантина – маленький кабачок

15

граппа – итальянская виноградная водка

16

Добрый день, Артур! (итал.)

17

деньги (нем.)

Что угодно? (нем.)

19

старик (итал.)

20

городской совет (итал.)

21

моя дочка (нем.)

да, да (нем.)

Полчаса. Больше получаса (итал.)

24

свинец (итал.)

25

дорогой (итал.)

Слушай, дорогой! (итал.)

хлеб, салями, сыр (итал.)

пассаж в Милане

посылка (фр.) – литературоведческий термин, обозначающий заключительные строки стихотворного произведения, чаще всего баллады